

Анастасия
ЦВЕТАЕВА

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
I

Благотворительный Фонд
имени семьи Цветаевых



Издательство «ИЗОГРАФ»
Москва
1996

УДК 820/89 (470)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6-4
Ц26

Составление и комментарий Ю.М.Каган
Художник Юлия Голованова

ISBN 5-87113-035-6

- © О.А.Трухачева-Ломакина, текст, 1996 г.
- © Издательско-художественный центр «Изограф», 1996 г.
- © Благотворительный Фонд им. семьи Цветаевых, 1996 г.
- © Ю.М.Каган, вступительная статья, примечания, 1996 г.
- © Ю.Голованова, оформление, 1996 г.



**КОРОЛЕВСКИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ**

1914 год



«В философской мысли есть какой-то пафос: королевское
и безнадежное величие»

А.Ц.

Маврикию Александровичу Минцу'

Недавно в одном обществе был разговор о привидениях. Первое, что во мне пробуждается в ответ – это протест. Мне хочется воскликнуть:

«Так, стало быть, вот разрешение всего? Приходящие мертвецы? Бросьте! Есть что-нибудь посложнее!»

Я именно в такие минуты ярко верую в географию и астрономию; вижу, как четко очерченный шар, наша земля, мчится в эфире бесконечно давно, бесконечно правильно, в бездне, где мириады планет и миров. А если так, то зачем же приходить мертвецам? Что это за игра? Ведь если так, если земля мчится в эфире, а мертвые все-таки приходят к живым, то ведь это же не разрешение, а еще гораздо больший хаос. К чему он?

Пусть уж, если так надо, земля мчится вокруг солнца с нами, живыми, и с могилами умерших, но если еще окруженная призраками – к чему? Чем призраки умнее могил? В чем же здесь разрешение? И я также спрашиваю себя иногда: чем разрешеннее результаты веры – результатов неверия? О, если так – то Базаров² – «Отцы и дети» – мне ближе! Я скорее поверю в нелепую волну или огонь или комету, которые снесут все с земли, и ее, может быть, кинут куда-нибудь вниз, (еще ниже, еще выше!), разбив на кусочки, и все разобьют, всю гармонию нашу, всю дисгармонию... И Königsberg с домиком своего Канта³ полетит к чорту, как соседнее село; и огонь пожрет «Критику чистого разума», и ничего не останется от всей философии, ни даже того, что «все есть представление», – во все это я скорее поверю, чем поверю в то, что этот Königsberg острее других городов почувствует ответ, благоразрешение мира, какое-то высшее утешение, сошествие божества...

Архангелова труба⁴, воскрешение мертвых, – не это кажется мне объяснением земли, всех звездочек мигающих и неподвижных и бездны кругом нас! Не эта сила, кажется мне,

напрягает в геометрической верности все оси и орбиты планет. Ох, уж нет! Уж лучше география, чем девять сфер теософских!⁵ Уж лучше пусть будет небо темой стихов, чем вместилищем девяти сфер!

Дерзость ума человеческого головокружительна! Иван Карамазов⁶ великолепен и прав. И чорт его (т.-е. болезнь) ничего не доказывает. Он бросил брату своему непринимание мира, и навек разрушил гармонию, (о, я слышу уже голоса – мудрые, враждебные, доказывающие, но я не вслушиваюсь) и пусть сходит с неба архангел с трубою, и отверзаются все могилы – Иван Карамазов твердо стоит на земле, и не принимает ни архангела, ни трубы! Вот в том-то и вся суть, что волна или хвост кометы не нуждаются во встрече, в принятии; и Ивана не спросят, сметут – и не будет Ивана. А ведь архангел не может спуститься на землю, если мы не можем и не хотим слушать его трубу. Один Иван ясностью своей разрушает эту возможность. Перед волной с Великого Океана, переполнившегося водой, нарисованного у нас на картах, четко и скудно очерченного исследованной землей, перед волною его поставьте Ивана: смолчит, разве что улыбнется. И ум и все – к чорту (как, может быть, символически и случилось – не перенес своей ясности и будущего перед этою волной). А если не будет волны, а будет ангел с трубой, Иван не смолчит и не улыбнется, разве что расхохочется да крикнет: «Не принимаю вашего разрешения!» – и куда же деваться архангелу? Умертвить Карамазова? А воскрешение-то? Ведь и мудрейшего и гнуснейшего воскресить надо. А как воскресите – вот он вам и крикнет опять «не принимаю!» Что, что, что, скажите мне, умертвить Ивана? Что есть глубже, безысходней, гармоничней человеческого ума? Что может стать умнее нас, что посмеет опуститься на землю в славе и силе своей, когда мы все изучили и ничего не приняли, когда были: Достоевский, Базаров, Кириллов, Иван? Мне кажутся их могилы милее – пустыми, чем покорно отверзающимися. Мне громадней кажутся их слова, их книги, чем благодать архангеловой трубы.

Что приведет к гармонии непринимание мира? Что осилит ослепительный блеск неверия? Что поборет скуку мира? Что сможет случиться, когда мы все, все предвидим? Да и наконец: Штейнер⁷ предвидит, пророчествует; мне каждый пророк кажется громадней своего бога, ибо он первый о нем говорит;

и если Штейнер понял девять сфер, понял будущее, знает прошлое, то разве сможет «по сему случиться?» Нет, нет и нет... Ведь человек под небом умнее самого неба, потому что небо пусто и только, а человек посмотрел и понял его пустоту! Какой бог сможет существовать, когда мы так дерзки, что отрицаем его, предвидим его (это равносильно)! Разве человек одной мыслью своей о скуке править миром, о скуке быть вечным и ничего себе не находить равного, разве человек одним признанием бога и подходом к нему — не разрушил богу возможность существовать? Что такое бог? Для чего бог? Откуда бог? И чем бессмысленней задавать эти вопросы, тем они мудрее. Вот, спросить: за что бог? — звучит без смысла; а ведь, пожалуй, смысл есть и большой.

И стоит себя раз спросить так, о боге, и не может никакой бог существовать, потому что все же: за что бог? Пусть. Допускаем. Он существует. Но даже когда мы пойдем его и увидим — за что — бог? — ведь мы это спросим, и какой же на это ответ? Ну, и дальше. Пусть вечная полная гармония; пусть бог — наш отец, мы его дети. Ведь тогда все опять начнется сначала, с дьявола, с логической жажды стать богом, с вопроса: за что Бог — бог?

Апрель 1914 г. Феодосия.

Боже мой! Да как никто не понимает, что существование земли нелепо? До смешного, до возмутительности! Говоря слогом Ницше⁸ — до чего люди заперлись в своих домах, конторах, Geschäft'ax!* Как они тесно строят свои жилища!

Они никогда не видят неба!

Они никогда не дышат воздухом!

О, если б хоть раз подышали они воздухом гор, которым дышу я!

Как мало смелости в человеческой мысли, чтобы не сметь возмутиться против нелепого и произвольного начала существования. Против самовольной выдумки кого-то, против этого дикого волшебства, которое люди раз навсегда, без критики, со страхом и беспечностью называли божьим промыслом, пред которым самые умные люди (Влад. Соловьев и др.) с радостью пресмыкаются! И дальше: нам хорошо с богом, тихо, тепло. Но как еще до сих пор никто не спросил — хорошо ли ему с нами. Бог дает помощь нам; но что даем богу мы?

* Делах (нем.).

Времяпрепровождение? Мы и то считаем ниже себя принимать жизнь ради этого. А бог? И как не поражает людей мысль, что если б бог создал нас и потом началась бы вся эта кутерьма, и бог бы смотрел из неведомой пропасти на закрутившееся по его желанию крошечное *regretuum mobile*, его бы непременно должны были обнять тишина, одиночество и громадное право, после которых слабым дуновением своего «я» бог бы уничтожил нас, непременно бы уничтожил, как не помогающее ничему.

Все должно иметь смысл. Человечество для бога не имеет смысла. Человечество в своем целом ничему не помогает. Оно – коробка с разнообразным содержимым, из которого однако одно нужно всегда только другому; но выкинь всю коробку, и от этого ничто не изменится. С точки зрения права на существование, нравственности, оно – нуль.

Все стремится к высшему. Все ищет себе неба. Собака ищет хозяина. Человек ищет сверхчеловека. Вне этого стремления – нет смысла. Как же бог может не стремиться дальше, глубже, как же он не хочет ничего над собой, как может он пребывать в застое, не хотеть совершенствоваться, как может он не создавать себе бога! Слышу: «по природе вещей это верно. Но бог вне природы вещей.» Это капкан последнего слова науки, но я холодно смотрю на него. Я вижу его механизм, я знаю, как он действует, я просто, без усилия поднимаю затвор и говорю: если бог не есть вечное углубление, то тогда люди несомненно дойдут до него. И будут боги. И над ними никого не будет. Бог должен быть вечным углублением; бог должен быть для нас тем же, чем переднее колесо телеги есть для заднего колеса – вечная недосыгаемость. Только тогда люди могут упасть ниц перед богом. Но если бог есть вечное движение, а не абсолют, то тогда за ним есть другой бог, тысячи богов, хоть бы и не в лицах, а лишь в представлении. И тогда бог теряет все свои атрибуты, а мы в тот же миг теряем опору, спокойствие, и божий промысел становится не последним проявлением божеской воли. Бог – движение, это только сверхчеловек Ницшевской проповеди. Бог же дальше, за ним бог? Но бог есть движение. И так мы будем искать помощи все глубже, и умрем, не найдя ее.

Когда движешься – смотришь вперед. Смотреть на нас богу-движенью это значит смотреть назад. Когда смотришь

назад — останавливаешься. И если требовать от бога постоянного бытия с нами, мы возвращаемся к богу-абсолюту.

Итак, исхода нет. Бог-абсолют охраняет, не спит ночами, наказывает и награждает, ведет все дела земли, но мы рано или поздно его догоним. Бог-движение стремится вперед, влечет за собой, но даже и не помнит о нас, потому что стремится выше себя, совершенствование его идет быстрее, и мы остаемся в самом начале безнадежно-бесконечного пути, лучи духа божьего все дальше, слабее, глуше, и тьма обнимает нас. Мы остаемся забытыми, с перечеркнутой надеждой когда-нибудь получить утешение, и никто не смотрит за делами земли!

И даже если есть бог-движение, скажем себе заранее: нет бога. В виду этого приходится отказаться даже и от ранее приведенного сравнения с колесами. Лучше сравнить бога с метеором на какой-то грани дороги в бесконечность, появившегося на миг. Но уже в следующее мгновение он оказался в беспредельной дали, все глубже и глубже опускаясь в страшную нам глубину. Метеор погас. И ночь еще холоднее. Нас создали — и забыли! И бог — если уж нельзя от него отказаться — есть ничто иное, как *regretuum mobile*; мы же — заводная игрушка. Завод еще действует, игрушка машет крыльями, сияет и звенит бубенцами... но!

Какое бог имеет право создать людей? То право, что дать жизнь среди всего благородного, прекрасного и веселого есть благо? Но ведь благородно и прекрасно — ему, а не нам; на вершине, а не в долинах, где смрад и смятение и тоска. Нет, если хорошо быть богом, то долг бога был бы создать нас богами. Но он этого не сделал. Богач, он призвал нас, бедных, и велел любить мир за его богатство. Тьмы он напустил там, где для него сияет свет. Неразрешимым сделал то, что для него ясно. Все, что он имел, дал нам перевернутым и неоконченным. Это ли — благо?

И — с другой стороны — если видеть в мире массу прекрасного, как, например, вижу я, — музыка, поцелуй, танец — и этим быть счастливым, как счастлива я, то такое счастье именно и не имеется у бога. Процесса существования (прекрасная, потрясающая, последняя ценность!) для бога нет. Его существование это именно, то, от чего мы бежим: глубокая и чистая мысль. То, над чем канатный плясун протягивает

свой канат, и мимо чего мы жадно скользим – к музыке, к людям, к процессу жизни. Существование бога безнадежно и ужасно.

Раз навсегда.

Отношение людей к богу глубоко бессердечно. Оно гласит: «мы не смеем заботиться о боге; да и может ли богу быть плохо? Разумеется, хорошо!» – Так ли уж «разумеется»? Почему богу хорошо? Что так особенно весело или благородно, или прекрасно в его существовании, чтобы богу могло быть вечно хорошо? Все ниже его, все ничтожно, все известно давно. Да ведь не только не «хорошо», но просто – Чеховское настроение. И равнодушен должен был быть бог и лишен всего, что высоко, чтобы за все время своего вечного существования не усумниться в том, все ли хорошо, все ли благородно, все ли прекрасно. И холоден бог, могущий смотреть на то, как Иван Карамазов говорит с чортом, и Кириллов кончает с собой, на то, как без ответа лежат в мире «Записки из подполья», и на то, как я пишу эти строки!

Зло и добро – мысли в пути к богу. Зло и добро лежат ниже бога. Для бога нет ни добра, ни зла. Иная мера у него ко всему. Следовательно, бог вне нравственности. Создавая нас, он не сделал ни доброго, ни злого дела (то или другое вышло уже в результате). Таинственен и темен бог, ничего не имеющий общего с вопросом добра и зла. Не есть ли это одна неизмеримая холодная сила, не знающая ничего от края до края кроме своего «я». И почему мы должны верить в добро и зло, когда бог стоит от этого бесконечно – далеко!

Ничто, совершенно ничто не выяснено никем и никак о существовании бога. Почему-то упорно и дружно люди не задумываются над судьбою бога (если позволяют так выразиться). Весы уравниваются. Бог не спросил о том, хотим ли мы существовать, мы не спрашиваем о том, хорошо ли ему с нами. Один и тот же эгоизм горит и в боге и в нас. Жажда надежды. Неистовое стремление доказать кому-то, что «я имею право существовать».

Вот о чем я хочу спросить. Кто такое Ставрогин. Что-то вроде серхчеловека. Ну, если не нравится это слово, скажем: человек выше других. Одною ступенькой выше людей и – неминуемо – ближе к богу. Так. Горяч Ставрогин или холоден? Все ответят мне в один голос: холоден. Так. Почему же он

холоден? Очевидно потому, что он выше других (как Иванов, как Гедда Габлер⁹, как еще несколько). Дальше. Что еще есть отличительного в Ставрогине? Что еще бросается в нем в глаза? Его безразличие к добру и злу, его «безнравственность» (как и в Гедде, как и в Иванове). Из чего происходит эта безнравственность? Почему все окружающие их стремятся к разрешению вопроса добра и зла, и только они остаются безучастны? Потому, что они выше других. Итак, холод и безнравственность есть атрибуты возвышения над людьми. Дальше. Ни Ставрогин, ни Иванов, ни Гедда не занимаются делами ближних. Даже больше: у них замечается презрение к кипящему вокруг делу. На той высоте, где они стоят, они не ударяют палец о палец. Им все равно. Стало быть, атрибуты возвышения суть: холод, безнравственность, безучастие.

Когда мы читаем «Бесы», нам очень высоким кажется Кириллов. Кто такое Кириллов? Человек, создавший свою веру и проводящий ее до конца. Герой. Философ. Подвижник. Посмотрим на то, как Ставрогин относится к Кириллову. Он еле выслушивает его углубленную и иступленную речь. Он прерывает его на полслове. Даже иначе — он ощущает и не может скрыть какую-то брезгливость к Кириллову. Все, что говорит Кириллов, должно быть давно ему известно. Ни одна мысль Кириллова не зажигает его. Почему это? Потому, что «все ищет себе неба. Собака ищет хозяина. Человек ищет сверхчеловека. Когда движешься — смотришь вперед». Ставрогину слушать Кириллова значило бы смотреть назад. Шатов, Кириллов, Шигалев¹⁰ — никто не останавливает его хоть бы на мгновение. Он кончает свою жизнь безучастно, бездеятельно, видя, как другие гибнут, кто «за идею», кто без всякой идеи, никому не подав помощь, никому ничего не объяснив, даже не сойдя ни разу с своей горы для проповеди, как Заратустра¹¹, не дав себе труда что-нибудь сказать перед смертью: «никого не винить, я сам».

«Таинственен и темен этот верхчеловек, ничего не имеющий общего с вопросом добра и зла».

Последний пункт. Каково отношение к Ставрогину?

Мне кажется, у людей нравственных через все, ярче всего — молчаливый упрек. По статье кого-то в одном журнале, Кириллов, Шатов и другие — это были дети Ставрогина. Его прошлое. Бесы, вышедшие из него. Дети Ставрогина. Каково же его отношение к ним? Холод.

Бездеятельность. Безучастие. Молчание о себе. Это его отцовское отношение. За это его... упрекают. Бросил в мир людей и смотрел, как они гибнут. И ничего не говорил о себе.

Но, друзья мои, — ведь все это именно и делает бог! Он — отец. Мы — его дети. Он бросил нас в мир и смотрит, как мы гибнем. И ничего не говорит о себе. Мы — прошлое бога. Мы его «бесы». Лучшие из этих детей — Христос, Штейнер, Толстой — не останавливают даже и на мгновение его взгляд. Он не вслушивается в наши иступленные речи, в нашу углубленную мысль. Все, что мы говорим, ему давно известно. Он ведет свою жизнь бесконечно далеко, безучастно, бездеятельно, видя, как люди гибнут, кто «за идею», кто без всякой идеи, никого ни в чем не утешив, не дав себе труда ни разу — явиться людям. Предпочитая оставаться во мгле и молчании, чем начать что-нибудь объяснять.

Кириллов имел ценность: стать богом. Заратустра имел ценность: быть сверхчеловеком. Ставрогин уже не имеет ни того, ни другого. Ценностей нет. И если у наших философов становится в мире все меньше и меньше ценностей — как же смеем мы допустить, что у бога есть хоть еще одна? И, если так, почему же нам ждать от бога участия и любви, если мы для него не ценность? Мы для него не больше, чем для нас муравей, которого мы давим ногой, не замечая. Мы не считаем за грех раздавить муравья, хоть нам известно из науки, какую сложную и трудовую жизнь он ведет. Почему же не грех? Потому, что мы в миллиарды раз сложнее и выше его. Так неужели же бог не выше нас настолько, насколько мы выше муравья? Разумеется, выше настолько же. А если так — то и греха нет в том, чтобы нас раздавить. И что до сих пор этого не случилось — это случайность. Он нас просто забыл. И от бога миру можно ждать только смерти, если он когда-нибудь, случайно, попадет на его пути!

Бог — лед. Мы — по молодости — еще пламя. Когда-нибудь жар нашей земли остынет от его холода.

Октябрь 1914. Москва.

Неужели бог, создавая человечество, не мог выдумать для него иного местопребывания, чем шарик среди пустоты, который вдобавок еще и летит?

Что за нелепость!

Ноябрь 1914. Москва.

Мы сидели на краю обрыва и говорили о теософии. Я сказала, что хочу от Штейнера только ответа: можно ли в корне не желать существования, и от бездны ли он спасает людей. Если на это следует «да» и «да» – то великолепно, и да пребудет теософия вовек! Оставьте Ивана Карамазова, больше ничего не прошу! А там хоть двадцать семь сфер!

Мой пример был таков: темная комната, в ней два человека, и каждому дана дверь с волшебным замком. За дверями – свет и бог. Этим двум людям дана возможность, открыв волшебные замки, войти в свет. Не открыв замка, они падают в пропасть. И вот один открывает замок и идет в свет. Другой говорит так: «да, меня, и комнату, и свет, и тьму, допустим, создал бог. Но я не хочу идти к нему. Мне не нравится. Я брошусь вниз. Мне там будет лучше. Не трону замка!» – Вот и все!

Еще я думала вот о чем: завтра я возьму комок земли, сделаю из него шар, и на него прикреплю много маленьких куколок, которые бы двигались сложнейшим механизмом, и все это на невидимой ниточке прикреплю к чему-нибудь, и другой, прекрасной, машиной приведу в движение. Шар будет лететь вот так:  вокруг какой-нибудь лампы, которая будет его греть и освещать. Каждый, кто увидит мое изобретение, расхохочется и скажет: «К чему это? Вот странное занятие, вот выдумка!» А я скажу: «Нет, вы не понимаете. Я теперь всю жизнь буду смотреть на эту штучку, потому что я это создал и мне это интересно!» Мне скажут: «Брось, какой вздор! Всю жизнь, вот так занятие! Уж лучше воду решетом таскать, право! Ну, да ведь завтра же бросишь!»

Увеличьте масштаб. Вдуньте дух в этих куколок, сделайте прочней механизм – вот вам и наше существование. Отделка исполнена лучшими ювелирами и художниками, вычурна, ослепительна, утонченно-скомбинирована. Но основа всего – глупа. Почему же никто не хохочет и не говорит, что это – нелепая выдумка? Больно велико? Обратитесь к учебнику астрономии, тогда узнаете, как страшно мало! И смеяться над такою выдумкой – из ничего создать что-то – очень логично. И затем: было ничто. Стало что-то. Но ведь когда-нибудь все вернется к первому состоянию, снова станет ничем? Как механизм испортится у моей машинки, так

когда-нибудь и у вселенной сотрутся винтики. Ничто — что-то — ничто. Все стремится к первоначальному виду!

Июнь 1914. Коктебель.

Кто сложнее: бог или мир? Если бог — то как нелепо, что люди допустили существование беспричинное и непонятное бога, а существование более простого — мира — они без причин допустить не могли. Чтобы оправдать мир = 2, они допустили предварительное бытие бога = 3. Но тогда возникает вопрос: кто создал бога? И так уйдем в тьму. А если последнего вопроса не задать, я говорю: бог может существовать без причины и оправдания — мы понять бога не можем. Так. Но почему же всего этого не сказать о мире? Разве мы его поняли! Разве мы нашли причины! И можно, не выдумывая бога, просто позволить миру остаться таинственным, существовать без причины — ибо мы его не постигли.

Но мы дальновидны! Мы сами себя замыкаем магическим кругом и успокаиваем себя: бог-де непостижаем; для бога не может быть причин. Вот как! Почему же не уничтожить все научные труды и исследования и не написать на каждой вещи: «причин мы не знаем», «непостигаемо», — это же будет глубочайшая правда, и при том — как легко станет жить!

Ноябрь 1914. Москва.

Для чего живет человечество? Для себя. Так ли?

Так потому, что не для того живет человечество, чтобы вокруг от него было светлей или темней. Шарик оторван от всего. На нем человечество. Человечество живет для себя. Почему же каждому отдельному человеку так постыдно жить для себя?

Ноябрь 1914, в вагоне.

Почему мне, свалившемуся «с неба на землю», не позволяют вечно смотреть «в небо»? С кем и с чем я тут связан? Я — один. И единственно кому я должен каким-то чувством — благодарностью или возмущением — это отцу или матери. Потому что по тем или иным причинам они создали меня. Остальным же я в праве во всю жизнь не подать руки.

Ноябрь 1914. Москва.

Все решают вопросы жизни с середины. Это небрежно и легкомысленно. Я не хочу так решать. Все начинают так, как будто бы есть что-то прочное. Но ведь прочного нет! И весь этот пресловутый опыт, которым так хвастается человечество и которым одни люди так давят, так подавляют других — ведь это же не больше чем карточный домик. Ибо единым вопросом моим падают на землю все тузы и валеты и все козыри.

Я — теоретик жизни. Я презираю опыт, набранный по ничтожным каплям в ничтожную чашу. И если мне дана для решения задача, то я начинаю ее от условий, через действия, к выводам. А люди начинают со второго, с третьего действия. Все трудятся — надо трудиться. Все живут семьями, все переносят от близких обиды, надо и нам так делать. Все честны — честных уважают — будем честны. Все погибают за отечество, и если я не стремлюсь за него погибнуть — мне не подадут руки.

Карточный домик! Дуньте! Вот он уж падает! Откуда вывели вы, что «надо быть честным», и что «надо любить ближнего»? Неужели от этих условий задачи, которые даются мне с таким колоссальным недоумением: «Пустота. Шарик. Полет.» — ?

Ноябрь 1914. Москва.

На той высоте, где я сейчас живу, я буквально чувствую, как у меня кружится голова. Все живут, видя над собою: добро, пользу, идеал, веру, бога; я живу в абсолютной сияющей пустоте. И тот мир, который кажется всем устроенным, осмысленным, божеским, мне видится нелепым, хаотическим, летящим неизвестно куда.

Все к чему-то стремятся. Я не стремлюсь ни к чему. Все уважают религию. Я религию не уважаю.

Прекрасный, бессмысленный пышный сад цветет от края до края. Слова, переполняющие газеты, диспуты, всю общественную жизнь — для меня бумажные марионетки, с которыми давно пора кончить игру.

Людей обнимает грусть. Меня — веселье. Их обнимает веселье. Меня — грусть.

В одном разговоре, где говорилось много вещей, от которых у меня в горле являлись спазмы смеха, я чувствовала какое-то наслаждение, какое-то сладострастие в том, чтобы поддаки-

вать — о карьере, зная все последние слова — вселенной и вечности. И я удивляюсь тому, как все глупы. Как все ужасающе глупы. 99% глупых. Да.

Октябрь 1914. Москва.

Сверхчеловек уже потому бесцелен, что он — путь от человека к богу. От одной бессмысленной вещи — к другой.

Июль 1914. Коктебель.

Сейчас у меня возник дерзкий замысел: написать пятую часть Заратустры. Его заход. О, я бы низвела его устами к нулю все ценности, и в предисловии написала бы:

«Дерзко пишу я эту книгу в глазах общества, неслыханно и смешно. К тем же кто как я понял, что начало всего — бездна, и что утешения — нет, я обращаюсь, говоря: Заратустра не мог этого не увидеть. И я дерзаю сказать о нем похоже на то, как он сказал о Христе: «поистине, слишком рано начал говорить тот пророк и танцор, которого чтут проповедники сверхчеловека. Зачем не молчал он еще немного! Быть может он перешагнул бы и последнюю из ступеней, научился бы все уничтожать, все обожая! Верьте мне, братья мои, он говорил слишком рано. Он сам отрекся бы от сверхчеловека, если б помедлил еще немного. Достаточно благороден он был, чтоб отречься!»

Июль 1914. Отузы.

Я хотела бы пятую часть Заратустры наполнить «вечным возвратом». Это была бы поэзия бездны, в которой вечный блеск звезд, и вечный шум весенней листвы, и вечная человеческая мысль. Последняя любовь. Последний блеск. Последний пафос. А шестая часть должна была бы быть более чем краткой: два слова о бездне, без звезд, без весны, той бездне, куда, «уйдя, я не смогу даже слушать, как там тихо и не смогу сознавать, «что нет ничего».

Любимым человеком на свете, гораздо более любимым, чем Достоевский, для меня стал Ницше. Я знаю, что он стоял на краю уничтожения ценностей; ибо слишком радостным пафосом налита через край его переоценка ценностей. Песенка та же: слово за словом... я теперь это знаю!

В его идее вечного возврата все уже было без надежды. Но еще был этот королевский пафос. «5-я и 6-я части «Так говорил Заратустра» – благоговейно посвящаются Ницше.»

В моем замысле закончить Заратустру нет ничего невероятного, кроме дерзости. Если дерзость будет сметена исполнением – то... Ведь ясно: если в сверхчеловеке – надежда, а в вечном возврате ее нет, и раз начало пути Заратустры – это сверхчеловек, а дальнейшее – проповедь вечного возврата, и раз сам Ницше хотел писать дальше... «неизбежно надо написать 4, 5 и 6 части. Во всяком случае я должен довести Заратустру до прекрасной смерти.» Вечный возврат исключает надежду; Заратустра перестал бы звать; он уж не был бы проповедником, но горьким пророком. И – последняя грань – где должна была быть «прекрасная смерть» – совсем не было бы надежды. Это так логично, так правильно. Заратустра, начав с надежды и зова, кончил бы молчанием. Одного я не понимаю: отчего эти великие, но простые мысли не приходили в голову самому Ницше? Или тогда мир был моложе, и теперь сам воздух стал «безнадежней?»

Июль 1914. Отузы.

Вообще – безнадежность так проста, так ясна: мир существовал, и существует, и будет существовать. Для чего и кем – неизвестно. Мы живем из всей вечности 20, 50, 70 лет. И хоть бы кругом – пир, великолепие, золото, тигровые шкуры, чаши с вином, книги, вся мудрость земли, христианство, буддизм, теософия, – все же через 50 лет нас не будет и все будет зелено на земле, – так почему же бы ей вместе с нами не полететь к чорту?

Я сейчас подумала: не принять мира я могу из-за одного того (Иван Карамазов радуется), что не понимала того, например, что такое «время». Не хочу, чтобы время шло. Хочу, чтобы чуть-чуть остановилось. Хочу посмотреть. А, нельзя? Ну, а я не хочу смотреть на то, как оно идет! Мне не нравится! А если мне в утешение посулят время, когда времени не будет, то я, когда это время настанет, непременно захочу (просто мыслию захочу), чтобы время шло и шло вечно.

Мысли не убьешь. И только когда мысль будет убита – будет счастье.

Июль 1914. Отузы.

Разговор с М. А. В - н ы м.¹²

Я. Макс! Сейчас без тебя за столом был спор о том, может ли человек вполне здоровый, нормальный, разумный, прийти к сознанию необходимости смерти.

– К самоубийству?

– Да. Как ты на это смотришь?

– То есть что...

– Да, что он приходит к заключению, что жить – нельзя, и убивает себя – не в аффекте, не из-за настроения, а из разума.

– Да, я допускаю это, конечно. Т.е. видишь ли ты...

– Нет, я только хочу знать: допускаешь ты или нет. Значит, допускаешь.

– Да, это может быть!

– Совершенно здоровый...

– Да. Но только я говорю это, не касаясь результатов такого самоубийства.

– То есть?

– То есть есть ли смысл в таком самоубийстве.

– Но как? Если я разумом моим не хочу существовать, так, вообще, не хочу – ведь смерть же мне дает этот смысл?

– Вот именно для такого самоубийства результат его очень печален. Вот почему: смерти нет, и дальше ты будешь мучиться тем же, чем ты мучилась, кончая с собой.

– Милый Макс. Я даже не могу ничего возразить, настолько это нелепо! Кто может мне велеть жить, если я не хочу? Если я смею восстать и потребовать смерти?

– Да, конечно, никто, но ты забывашь... (нужно сказать, что мы оба сияем, должно быть, зная за собою: Макс – Штейнера, я – Ивана).

– То есть как? Если я хочу умереть, убиваю себя, то все же это не к чему не ведет? Я снова живу?

– Конечно, ни к чему не ведет. Ты можешь убить свое тело, но ведь духовная жизнь остается. Те муки, которые ты несла в себе – продолжаютя...

– Ну, конечно. Мы говорим на разных языках. Ты веришь в бессмертие души?

– Конечно.

– Ну, да, а я в него не верю. И я знаю, что если я себя убью – то меня не будет больше никогда и нигде.

– Ну, да, но вот ты и разочаруешься, потому что все же будет продолжать быть таким, как при жизни (примечание: да простится мне невольный тон превосходства моих слов над словами Макса; и то, что я, может быть, запишу его слова более примитивно, менее умно. Это не моя вина. Над моими словами для меня горит ореол, и он светится в моем тоне. Над его словами для меня ореола нет, и я не нахожу те слова, которыми были сказаны его мысли. Скажу только, что он их говорил с тем же ощущением сияния над ними, как я – мои слова. По сиянию, стало быть, слова наши были равны).

Я. Об этом можно спорить всю жизнь, и бесплодно. Потому что никто же из живых мне не докажет, что нет смерти.

– Смерть есть, но не та, которой ты хочешь.

– Ну, да, ты так говоришь. Но ведь для меня эти слова опять – миф. И можно целую жизнь...

– Да нет, совершенно не нужно целую жизнь спорить, Ася. Гораздо проще – говорить с теми людьми, которые это достоверно знают.

– То есть?

– Которые были по ту сторону, в другом мире, и вернулись назад.

– Это для меня, Макс, вздор.

– Но как же вздор, Ася? Ну, если бы человек, которому ты вполне, абсолютно доверяешь, тебе сказал...

– Я бы сочла, что или он или я сошли с ума. Потому что для меня главное – разум. И весь мир стал бы вверх дном в ту минуту...

– Это и должно быть. Наступает момент, когда все, во что ты верил до сих пор, становится иным и...

– Нет. Это иным стать не может. Что же мне могут сказать в ответ на то, что я просто и коротко не хочу существования. Я не говорю, что у всех его не должно быть (хотя я, в сущности, и это утверждаю) – позволим тем жить, которые хотят. И пусть они после смерти воскресают (ничего более нелепого себе представить нельзя!). Но я, который не хочу жить, хочу стать никем...

– То есть видишь ли, Ася. Для такого стремления путь есть, да. Убить, уничтожить себя во всех мирах можно. Через зло.

– А, значит, можно! И по вашему можно! Макс! – воскликнула я с тоской. – Неужели же вы все не понимаете, что такой человек – именно с вашей точки зрения –

небывалым шагом своим перечеркнул бы все ваше счастье, все ваше будущее! Ведь такое «нет» звучит удивительно привлекательно среди поголовного «да». И ведь его не стереть веками веков, как там ни объясняй. Навсегда будет то, что для одного человека не хватило ваших обещаний. Значит, он хотел большего. Значит, может быть большее. Вот эта мысль мне только и нужна, больше ничего.

Вторая часть разговора.

— Ася, я усматриваю у тебя следующую путаницу. Ты смешиваешь закон (забыла его слова, и не буду стараться точно их восстановить, боясь ошибиться)... с законами самой природы. Ты хочешь бороться против того, против чего бесполезно бороться.

— Нет, Макс. У меня нет путаницы. Все совершенно ясно.

— Погоди. Ну, вот, я тебе объясню это образом. Тебя возмущает то, что ты видишь, и ты у себя вырываешь глаз. Но ведь все продолжает существовать.

— Так вот. Я же тебе говорю, что если бы я могла уничтожить всю вселенную — я бы и ее уничтожила. Но так как я этого не могу, то я и уничтожаю то, что могу — себя. Я не хочу: ни бытия, ни разрешения, ни смысла, ничего не хочу. Хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не хочу слушать трубу архангела.

— Но ведь ты забываешь, что труба архангела раздастся только тогда, когда внутри себя ее все будут жаждать. Ведь это придет не извне, а изнутри.

— Хорошо. Ну, а если кто-нибудь — ну, допустим! — все же ее не захочет — что же тогда делать?

— Если допустить, чтобы один человек так далеко отстал от других...

— Хорошо. Пусть отстал. Все равно. Что тогда?

— Тогда, конечно, даже из-за одного такого человека все способно остановиться и ждать.

— Ждать? О, ну если так — это превосходно. Мне только это и надо. Значит, ты согласен, что архангеловой трубы быть не может, пока все ее не захотят. Так?

— Так.

— Ну, а если этот человек не «далеко позади», а «далеко впереди» — что тогда?

Макс улыбается.

Я. До него будут тянуть остальных? Тянуть до бунта? А как же архангел?

– Ася, вот возьмем пример. Несмотря на то, что ты любишь жизнь, ты приходишь к мысли о самоубийстве. Так?

– Так.

– Это показывает, что внутри тебя действовали какие-то внутренние законы, которые в тебе произвели переворот. Вот этот переворот будет с каждым.

– Эх, господи, строить здание в надежде на переворот – это... штучка шаткая! Но хорошо. Допускаю.

– Погоди. Будет полное перерождение, абсолютное. И затем – не забывай, Ася, что есть люди, которых миссия есть миссия отрицания (вот то, о чем ты сейчас говоришь). Которым всю жизнь дано быть непокорными. Бунт. Но этот бунт может быть ближе к богу, чем вера. Не забывай, что пути к богу различны. И что путь богоборства может быть еще гораздо вернее богопокорности. Ты помнишь слова Христа о том, что в царствии небесном больше радуются одному обращенному грешнику, чем девяносто девяти праведникам...

– О, это очень тонкая мысль! Еще бы! Девяносто девять глупцов или один умник? Приятно к себе залучить умника. Да еще такого, который сам отрекся от своего ума – уж он глупец навеки, уж никогда не возмутится, никуда из рая не уйдет. А проповедовать-то как будет...

– Ася, дай сказать. Есть одна индусская легенда: в ней предстает душа перед Брамой, и Брама¹³ ей говорит: тебе остается уже немного воплощений (у них воплощение считается миссией и наказанием), чем ты хочешь быть: еще шесть раз святым или два раза – дьяволом? И душа отвечает: конечно, дьяволом. Это легенда показывает, что пути различны, но цель одна. И путь дьявола стремится к тому же, только он труднее, чем путь святого, и быстрее.

(Примечание: странно, однако, что вот уж прошло столько тысячелетий, было столько святых, а дьявол все еще не пришел к богу с повинной.)

– Помни, что непокорность – это самое сыновнее чувство, непокорные вместе с творцом творят мир. Но тут существует еще одна вещь: это непонимание того, что есть бог. В твоих словах я вижу отношение к богу, как к какой-то высшей и чуждой силе, которая смеет тебе приказывать. Но есть другое отношение к богу. Чувство бога в себе. Я – сам бог.

– Макс, скажи мне одно, для меня главное: какой смысл всего?

– Какой смысл всего??

– Ну, да, всего. Какой смысл мне все это делать, что-то думать, что-то постигать, слушаться бога, творить мир и т.д.? Если я ничего этого не хочу? Есть ли в конце концов во всем этом какой-нибудь смысл? К чему все стремится? Где эта конечная точка, у которой...

– Конечной точки мы не видим и не можем увидеть. Но есть пункты отдаленные, в которых...

– Ну, вот, назови мне самый отдаленный пункт.

– То есть я назвать тебе его не могу. Я могу только отчасти объяснить то... ну, вот видишь ли: то, о чем ты говоришь, это находит себе отклик, свое начало – в первом возмущении против бога; не в грехопадении людей, а в протесте ангела, в сознании бунта – в дьяволе. И, если проследить историю человечества, все, собственно говоря, исходит от этого и идет об этом.

Он говорит об этом дальше. Наконец, я его прерываю.

– Значит, все же – какой конечный пункт наших стремлений? Как ты можешь это формулировать?

– Формулировать короче это нельзя, пожалуй.

– Ну, – настаиваю я, – каким-нибудь словом, чтобы было легче говорить (я чувствую, что слово это для Макса рискованно, но я очень хочу его иметь в руках), ну, как-нибудь!

– Ну, искупление греха, что ли, искупление мира...

– Ага. Великолепно. Все стремится к искуплению мира. Так. Соглашаюсь. И вот, положим, что мир искуплен.

– Та архангелова труба, о которой ты говорила?

– Вот, вот, вот, великолепно, я к этому и клоню. Все пришло в порядок, все искуплено, все кончено. Что же делать дальше?

– Дальше? Но ведь ты забываешь, что наша жизнь – это крошечная частичка того, что...

– Ага, так? Хорошо. Тогда можно сказать вот что. Да, во-первых, ответ: все ли нам станет после этой архангеловой трубы понятно? То есть, допустим, что все, так?

– Все.

– Все стало понятным. Так неужели же нам скажут: продолжайте теперь существовать. Ведь это же... ведь это... я не знаю – насмешка! Ведь жить нельзя, когда все понятно!

Макс улыбается.

– Я не знаю. Для меня лично, например, только тогда и раскрывается возможность существования, когда все понятно. Когда я сам становлюсь часть...

– О нет! – восклицаю я. – Боже мой! Да ты и неправ! Потому что ведь вы сами признаете смысл в жизни из-за искания и надежды. А ведь тогда не будет надежды. И затем: если мы все постигнем, то мы постигнем и бога (иначе что же такое «все»?). А постигнув бога, мы сами станем богами. Кажется, этого не полагается. Нет. Еще единственное, что меня могло бы утешить – это то, что мне бы ясно сказали: эта жизнь – крошечная часть того, что есть. Затем, если бы во время архангеловой трубы мне бы объяснили всё это существование, и сказали бы: ну, а теперь живи дальше, иной жизнью, в которой для тебя снова все будет непонятно, но которую когда-нибудь тебе объяснят. Я не трогаю тут, я оставляю в стороне ту простую возможность, чтобы эта процедура мне осточертела через два-три существования. Я допускаю, что я согласна принять такое предложение. Оно скучно, но еще приемлемо. Но чтобы все объяснили, невек, без остатка, и заставили бы теперь жить – вот уж когда настоящая-то минута для самоубийства!

Я встаю.

– Но вернемся к тому положению, что конечное – это искупление мира. Но к чему оно? чтобы он существовал, да? Стало быть: мир существует, чтобы быть искупленным. Он искупляется, чтобы существовать. Какая великолепная сказка! Она знакома с детства. Она тогда называлась: сказка про белого бычка.

На вопрос о необходимости существования мне, конечно, Макс, не ответил. На вопрос, что делать с тем непокорным, который не хочет слушать архангелову трубу, но который стоит не позади, а впереди всех, на этот вопрос он мне опять-таки не ответил.

Вывод:

Чем сильнее верующие веруют, чем светлей их сияние, чем темней нам от этого, чем страшней и душно, тем легче должно стать дыхание, тем глаза должны стать ясней! И если

они за нас будут молиться – спокойно вынесем это зрелище. И если бы люди взяли и разорвали бы – каждый сам себя пополам – из любви к богу и веры в него, так ведь это же моя торжествует правда! Каждый новый жертвенник своим трепетным огоньком освещает песчинку – чего же? – бездны. Я скажу громкую фразу: чем больше выходов кругом – тем безвыходней!

И еще я скажу: как сложно они доказывают необходимость жизни, будущего, искупления... И как ясно и кратко я говорю: «нет». Как много теорий и путей, чтобы спастись! В целую жизнь едва поместятся доказательства ее необходимости – так сложно. Но ясности моего «не хочу» много даже для одного дня!

Июнь 1914. Коктебель.

Проснувшись ночью, я лежала и долго не могла заснуть. Свет еще не проникал сквозь ставни, было темно и тихо. Ночь. Сколько раз! Та же тьма, та же тишина, те же сверчки, или цикады, или комары – если лето, и вьюга – если зима, те же неясные очертанья предметов, и медленный бой часов, и шорох, и гудок поезда, и внезапный прилив тоски. Я слушала, как все было тихо; где-то на дороге звонко дребезжала арба; тонко пел комар, приближаясь и удаляясь; няня вздохнула, как вздыхают только во сне. Тихо. Начинаю различать предметы. Так лежать ночью, слушать, как тихо, как прокричал петух (значит скоро рассвет)... Кто-то рядом спит и, проснувшись, будет, может быть, верить в бога и не видеть безысходности вокруг. А ты лежишь и видишь так ясно, что от этого некуда уйти. Все говорят о чем-то «высшем», а правда – с тобой. Вот выйди сейчас на балкон, в сад, во двор: Млечный путь, и падающие звезды, и необъятная черная глубина. Точки, крапинки, шарики звезд, и молчание. И аксиома: пусть за небом грань и конец, все же есть бесконечность; если у неба нет конца, оно бесконечно, если бог есть, он в бесконечности; все – часть бесконечности. Поэтому все безнадежно, а бесконечности не уничтожить никогда.

Ах, эти пробуждения ночью, какой озноб, какой трепет! И, когда, опрокинув голову, смотришь вверх... Так: разум идет своей единственной, ужасной дорогой, доходит до бездны, видит и застывает. Есть два шага: вперед, к смерти, и – назад к людям, к богу, к закрыванию глаз. И вот начинается новая

жизнь. Бездна – та же, но человек убежал от нее. О тех, кто не бежал назад – мы ничего не знаем. Все, кто проповедуют – бежали. Могут ли слушать их!.. Невыносимая горечь охватывает меня при их именах. Точно я не знаю, откуда так горяча их речь! Если постоять подольше под небом, не опуская глаза, то сам удивишься тому вдохновенью, тому грому призывов и приказаний, которые на завтра загремят в твоей проповеди!

Если стоящий у бездны шагнет вперед, в смерть, он будет холоден, как лед, к оставляемым людям. Если ж он рванется назад – то с неистовым пламенем. Это пламя, источник которого неизвестен людям и очень известен мне, жжет их и светит им так, что они падают ниц.

Август 1914. Коктебель.

Я сразу вся загораюсь, когда встречаю человека неверующего. И подумать, что я сама уже стою на той позиции отрицания всего чудесного и мистического, на которую я смотрела с такой насмешкой несколько лет тому назад! Узнав, что человек любит Ивана Карамазова, я сразу рвусь «все ему рассказать о себе»... И мне хочется крикнуть: «Вы сами не знаете того, что в Вас есть. Очерчивайте. Любите Ивана и жить как жили? Слушая Ивана, надо выслушать до конца. А это значит: мир пуст. Все кончено. Нет ничего. Дело ведь вовсе не в том, что «Иван – умен» и не этим он «нравится». Он «нравится» тем, что все это – неоспоримо.»

Дело не в том, что «как умно», а в том, что «как верно».

Я думаю, что $2 \times 2 = 4$ приносит каждому истинному математику – наслаждение. Так и тут. И не слушаю я вас, мои милые собеседники, когда вы говорите мне, что я отрицаю бога... потому что я еще не всю жизнь прожила. В иных вещах дальше $2 \times 2 = 4$ идти некуда. Хоть голову себе разбей. Верно. Но как вечно были и будут противники Эвклида, так вечно нам будут доказывать, что $2 \times 2 = 3$, и $2 \times 2 = 6$, и даже может быть 10...

И чем страннее цифра, чем необычайнее вывод, тем охотнее слушают, тем больше учеников. Спешите, друзья мои, уж Штейнер читает лекцию... Но $2 \times 2 = 4!$

Июль 1914. Отузы.

Я полулежала на высоком сиденьи, уронив на колени руки, глядя вокруг себя на поля и холмы, думала: буду ли я

философом, или брошусь в авантюризм, стану ли только талантливой женщиной и Ириной из «Дыма»,¹⁴ и как я умру? И, может быть, через много лет я буду по каким-нибудь русским дорогам так же ехать в тарантасе и разговаривать с ямщиком, смотреть на золотистое поле и на пепельно-синий лесок, на длинные гряды облаков, упавшие над горизонтом... Те же квадратики пашен и изгибы белой дороги, тот же запах дегтя, и грохот, и скрип тарантаса, и бабочки над пыльным плетнем, и вдаль – мужик за сохой, Россия цветет, и так же рубашка надувается от ветра за спиной ямщика, и так же косы сверкают на солнце, и сенокос, и жара, и блестящий изгиб реки, и какой-нибудь Левин,¹⁵ вдруг постигающий всю гармонию мира вместе с каким-нибудь новым Толстым, Россия все та же, а наверху для меня все тот же вопрос и все тот же ответ, – о, как садится солнце, как медленно озаряются пашни, как тихо, тихо, страшно далеко несутся звуки гармоника, и вот уж кузнечик... Все радостно, все пусто, все глубоко!

Июль 1914. Феодосия.

Прежде я чувствовала свою какую-то миссию, но беспечно ей не знала названия. И вера в чудо – была. Теперь, если верить в миссию – моя миссия слишком блестящего, небывалого (с одной стороны), слишком странного и бесцельного (с другой стороны) свойства. Сказать, что все безнадежно, так? Ну и миссия! Может быть, единственная миссия, которая не так-то уж требует выполнения, хотя она так же «правильно обоснована», как и другие. Мне предстоит: сказать и умереть. Но так ли важно сказать? И, может быть, только умереть? Вот то, что смутно тревожит меня и мучает. Выходит, что я все еще, вопреки всему, – да, верю в какое-то чудо. «Да, это, конечно, правда, что бездна и пр., но ведь все же, не может же быть, чтобы я просто умерла, завтра, в будущем году, и ничего больше? Как же? Да ведь это конец, навсегда...» – Точно я не об этом говорю все время! Точно я не знаю, что нет ни бога, ни помощи, ни защиты! Так что же: конечно, умру – и конец! Ведь я не только отрицаю будущую жизнь, но я еще ее и отвергаю! Я с насмешкой говорю, что, может быть, и этой жизни – чересчур; что «прожить 40–60 лет, не зная, что такое жизнь – немало!» Я сама за собой закрываю все, все пути. И так как теперь и имя «миссии» мне известно, то – все известно. Остается только вопрос: когда же я умру. И больше ничего.

Но вот я пишу и совершенно, совершенно не верю ни в одно свое слово, совершенно не могу осознать, что «я умру — и конец!»

Август 1914. Коктебель.

И если я в каком-нибудь порыве сожгу эти тетради, то не верю, чтобы это было «от чистоты». Нет. От испуга перед собой или перед каким-нибудь будущим бедствием. Но ведь — что же! Все мои мысли, все эти строчки, все это — стрелой врежется в воздух, или — ядом прольется в блестящее и солнечное существование земли.

Нет. В том-то все и дело, что огонь сжигает все, всякую бумагу до тла. И если бы что-то могло влиться ядом в воздух, то уж давно нельзя было бы дышать, Нет. Воздух чист и весна благоуханна. Маленький огонь пожирает наши рукописи, так же как большой огонь пожрет землю через х лет. И, ведь, в самом деле, главный вопрос: виновата ли я, что я такая? Раз я такая, то я не могу быть иной. То есть я могу себя сломить, да. Но есть ли смысл в этом? Сломленным или несломленным надо жить? И, может быть, это совсем все равно.

Август 1914. Коктебель.

...Ах! Если б все чуть-чуть больше подумали — не было бы никаких книг!...

Удивительное явление: над морем стоит большое кудрявое облако, которое изнутри то и дело вспыхивает словно молнией и гаснет, и так ослепительно, что точно груды серебряной ваты висит в воздухе. Кругом темно. Что это такое? Я стояла на холме и смотрела. Дул ветер. Я думала о том, что бы я почувствовала, если б я стояла так в тихий вечер, думала бы о моем неверии в бога, и сказала бы, взглянув в темное небо: «Если бог есть, пусть вон то облако вспыхнет» — и оно бы вспыхнуло. Что бы со мной стало? Упала ли бы я на землю, как ангелы у гроба Господня? Или бы только забилося сердце, и я бы осталась стоять, дрожа и нахмурясь?

Но для другого неверующего (не для меня) весь мир: горы, море, звезды, ветер и вечер — все бы сразу наполнилось шумом и напряженностью, ясностью, гневом, — точно чья-то рука властно простерлась над всем, точно чья-то громадная светлая

тьнь повисла вверху и все собою закрыла. Благоговение, и страх, и блаженство почувствовал бы так вопросивший. Но — что это было? Болезнь.

Июль 1914. Отузы.

Земля летит (орбита, ось, пустота, звезды), а люди верят в число 13, и в 3 свечи. Где число 13? Где понедельник и пятница? Летим, летим, летим... Если б было число 13, то было бы все, потому что это значит — помеха нам; а если помеха, то и забота. А я знаю, что нет ни забот, ничего.

Июль 1914. Коктебель.

Заря. А слева встает над морем луна розово-желтым шаром. Цикады.

Я читаю книгу Шестова¹⁶ и чувствую, что двум-трем людям в мире надо было бы кинуть под ноги трибуны — и именно для них этого нет. А трибун — миллиарды.

Июль 1914. Отузы.

Я думала о своем взгляде на добро и зло. Ярче всего в этом взгляде то, что это меня никогда не интересовало. И вот отсюда мое подчас тоскливое недоумение над тем, что лучшие люди так страдали над этим вопросом. Почему не страдаю я? Почему я никогда не любила добра и никогда к нему не стремилась? Я совсем не понимаю этих слов: идея, идеал; я совсем не знаю этих часов мечтания о деле, полезном для человечества. В пятнадцать лет я говорила, что я не верю в дело, то есть что дело не может удовлетворить, что выше мечты — ничего нет (воздушные замки Ибсена в «Строителе Сольнес»),¹⁷ я просто-напросто прошла мимо жажды служения человечеству. Я гордо воскликну: мне это никогда не приходило в голову. И я еще более гордо воскликну: и не выводите из этого, что я «демоническая женщина» — ничуть не бывало! Нежности во мне и жалости хоть отбавляй. Но всегда эта жалость моя была моим самым лучшим «воздушным замком», никогда не принимала облик «приюта для униженных и оскорбленных». Я прямо начала построения мои — с воздушных замков. И когда мне говорили о добре, я всегда в тайниках души чувствовала, что тут что-то не ладно.

Мне милее человек ожесточенный, насмешливый и циничный, ясный, как день — человека примиренного и молящегося.

В этом мне всегда чудится слабость, боязнь. «Боже, спаси», «боже, не остави»... — Я охотнее слышу слова, вроде: «я не принимаю твоего мира!»

Я много вечеров, много минут провела в безысходной тоске о мире. Много раз рвалась кого-то спасать, и всегда рвусь. Но эти минуты мои никогда не орошались слезами надежды и веры. Их точно серп срезала у корня какая-то начальная невозможность всего, и мне никогда не хотелось целовать землю, что-то ей обещая. Нет. Я ее целовала в немой тоске, и в полном сознании безнадежности. Коротко говоря: Зосима или Иван Карамазов? Иван Карамазов!

Июль 1914 Отузы.

Я сегодня в первый раз — от другого — получила точное объяснение Достоевского и Толстого. Эти слова — мои. Я хотела бы послать Шестову свою книгу с подобной надписью:

«Г-н Шестов,

Прочтя Ваши книги, я осмеливаюсь Вам послать свою. Как говорит Шопенгауер¹⁸ о читателе: «мое последнее средство защиты, это напомнить ему, что он властен и не читая книги сделать из нее то или другое употребление. Она может заполнить место в его библиотеке, где, аккуратно переплетенная, несомненно будет иметь красивый вид. Или (это самое лучшее, и я ему особенно это советую) — он может написать на нее рецензию».

Г-н Шестов, или — милый мой друг, так же, как я, рвущийся к бездне (о да не будут пустыми и громкими мои слова!) я жду вашей «рецензии» — с радостью. Сколько строчек Ваших я подчеркивала и сколько полей исписала! Вам остается теперь повторить это с моей книгой, и — но пока, до свидания!»

Июль 1914. Отузы.

Я думаю о том, что еще в жизни дано мне познать? Разумом своим и самоощущением я стою рядом со Ставрогиним, несравненно дальше Заратустры. Уж никогда я не сделаю ни одного «добраго дела» и не пойму, что такое звучит для людей в слове «идея». Так что же мне остается? Бесконечное углубление в слово «безнадежность» — и смерть. Галоп и смерть. Я пишу, наслажаюсь, — и не верю. Кусок мыла и веревка, как Ставрогину, «сейчас», как Кириллову, неужели мне это суждено? Конечно. Я этого хочу. Не хочу же я

«естественной», то есть неестественной смерти. Самоубийство — самая естественная смерть. Величия этого мига я еще не могу охватить. Я еще как-то сладострастно люблюсь тем шумом и той тишиной, которые охватят все мое существо за две минуты до смерти. Но тогда!..

Октябрь 1914. Москва.

Я думаю о том, какая странная вещь — философия, и о том, как все, что касается ее — сказочно! Вчера, слушая логическое разрушение нескольких древних философских систем, я радовалась; и то время, когда люди не захотят более принимать жизнь, поваяло на меня своим определенным будущим бытием — из размеренных слов склонившегося над кафедрой профессора, говорящего спокойным голосом, что «истина еще впереди».

Бытие, небытие, единство, множество, время, пространство, вечное изменение и пребывание, движение, отрицание движения, сотни формул и сотни же их отрицаний, имена блещут...

Я бы хотела объяснить, в чем тут дело: в том, что ответом отделаться от сомнений — невозможно. Раз навсегда. Но только вопросом. Этот вопрос будет прост, глубок, удивителен: «все летит и кругом — пустота; разве можно быть счастливым в бездне?»

Да даже если мне обещают в будущем что-нибудь с большим смыслом, я не прощу этих двадцати лет моей жизни, проведенных на шарике, в пустоте!..

Октябрь 1914. Москва.

Некто. Вы даете свое разрешение философской загадки. Так?

Я. Я не даю никакого разрешения.

Некто. Это игра словами. Признав единственным ответом — бездну, и выводя отсюда полную безутешность, вы, тем самым, даете разрешение вопросу о бытие.

Я (весело). Да, я говорю: Господа, вопрос быть решен не может. Вот решение вопроса.

Некто. Именно так. Теперь позвольте. Вы примыкаете к сонму жрецов философии...

Я (с ужасом). О-о!

Некто. ...и сами произносите над собой суд в тщетности своего стремления сказать правду. Ибо — неужели думаете

вы – не найдется ближе, подобного вашему, и логических доказательств, подобных вашим, чтобы через десять лет после вас от вашей системы не осталось и песчинки.

Я. Знаю.

Некто. И неужели не чувствуете вы, что ваше успокоение на лаврах своего сознания тождественно с успокоением каждого философа, против которого...

Я. Знаю и это.

Некто. Потому, что каждый, предложивший свой ответ, был для себя богом. Для Гераклита¹⁹ не было ничего кроме движения. Для Парменида²⁰ – кроме пребывания. Для Шопенгауера – кроме воли. Для вас – кроме безутешности. Вы говорите: нет ответа ни на что. Зенон²¹ говорил: нет движения. Вы говорите: есть пустота. Были такие, которые говорили: нет пустоты.

Я. Знаю. Все занаю.

Некто. Нет. Знаете ли вы еще то, что искать истину, как бы трудно и смешно это ни казалось, благороднее чем...

Я. Знаю.

Некто. И что разбиваться о гранитную стену...

Я. ...Быть Дон-Кихотом...

Некто. ...Быть Дон-Кихотом прекраснее, чем...

Я. Чем, как Базаров, резать лягушек. Я все это знаю. Я люблю Базарова больше, чем Дон-Кихота.

Некто. Помните, что вы несколько лет назад говорили иначе.

Я (насмешливо). Да, ведь, я еще молода! Мне простительно изменяться!

Некто. Знаете ли вы еще то, что вы сами над своим выступлением...

Я (спокойно). Кому же это знать, как не мне?

Некто. И что вам остается повести себя, как некий так любимый вами Шигалев, которого на собрании...

Я (устало). Да, да, да.

Некто. И что...

Я. Простите меня. Я очень устала. Я принимаю равенство с Шигалевым. Притом наши проекты не так еще непохожи, как кажутся с первого взгляда. Он давал одну возможность жить на земле, я даю другую возможность жить на том же месте. Простите, что я не могу спорить. У меня болит голова.

Того же дня. Москва.

Вдруг кто-нибудь, где-нибудь, думает о том же? Ну, как же от одного этого не простирать руки к миру?

О, как на лесенке моей безнадежности – как я верю в людей! Никого не проклиная. Подхожу к бездне и верю в людей. Вижу бездну и верю в людей. И если когда-нибудь полечу в бездну – все так же буду верить в людей. Ни единой капельки пессимизма.

Боже мой! Мир не только не плох, люди не только не злы, ресурсов не только достаточно, но – мир абсолютно-прекрасен!

Люди глубоки и чисты!

Всего через край!

Счастья, блеску, содержания – так много!

О, как на лесенке моей безнадежности, о как я верю в людей!

И тому, кто, как я сейчас читаю о Ницше, будет читать обо мне: я уже сейчас беру ваши руки, за двадцать и больше лет (и может быть, вы еще не родились), и – ничего более! Чего же я бы хотела от Ницше? Ни я не спасу, ни меня не спасут.

Только одно не ложь – в жизни: один разговор вдвоем. И вот – о самом сокровенном для этого моего будущего друга – я предлагаю ему безнадежный, и тонкий, и мучительный разговор. И еще раз молчаливо жму руки. И на миг – времени не существует. И потом – пусть я снова возвращусь в свою тьму, а вы – идите к своему блеску!

Июль 1914 Отузы.

И з п и с ь м а.

Авантюризм. Как он глубок и как страшен. «Презрение к слову, дело!» пишете Вы. Я помню себя пятнадцатилетней девочкой, смеющейся над всяким делом, проповедующей «только слова». И теперь, через великолепный путь стройного миросозерцания я прихожу к отрицанию слова, к «делу!» Конечно, дело-то иное, ибо оно одного рода – на земле, и другого рода – в бездне, но все же понятие дела торжествует в идее авантюризма, дела, возведенного в миллиардную степень. Итак, надо: или писать, или жить.

Я стою над книгой Ницше и думаю о себе: «Неужели ты не сядешь писать? О, безумие! Брось все. Учись, пиши и снова учись».

Через час я сижу на террасе, кто-то вошел, кто-то взглянул, мне становится сладко, я в себе чувствую не кровь, а вино, — и бешенство жизни меня охватывает. И я хочу себе бросить по-новому свое презрение:

«Как», говорю я, «ты, лучшая скрипка в мире, ты, лучшая из женщин и лучшая из актрис, лучший из сорванцов, лучшая из девушек, из цариц, ты, авантюристка,

ты, у которой в венах бушует не кровь, а вино, ты хочешь писать??

Ты боишься бездны, как все, ты в книге скрываешься как в шалаш! Ты пишешь книгу о грозе? Не лучше ли — выйти постоять под грозой? Ницше? Он сам был слаб и неправ!

Поняв идею каната над бездной, о ней не надо писать! Надо просто скорей начинать танцевать на канате, пока не закружится голова!»

Но что же, это значит то, что я с трепетом подхожу к концу его жизни? Почему у меня туманится голова? Быть совершенно одному в мире со своими напечатанными книжечками... это, должно быть, тоже без шалаша!

Бездна одна. Над ней два пути, на которые указали Вы мне: авантюризм. Слово. В конце этих путей тот же крик восторга, когда падаешь в бездну — падаешь или летишь. Но вот решай: каким ты хочешь видеть свое лицо: безумным, сожженным, или —

...на площадь вылетел подросток,
Как утро юн!
Два-три прыжка, два-три аккорда,
Уже канат дрожит тугой
Под этой маленькой и твердой
Его ногой.
В своей накидке многозвездной
(Из рамы вышедший портрет)
Он улыбается над бездной,
Подняв берет!..*

Июль 1914. Отузы.

* Стихи М.Цветаевой (прим. авт.).

Я думала о доказательстве любимого мной утверждения, что Достоевский совершенно как я стоял посреди жизни, выходов не видел никаких.

Христос, Евангелие, искупление, мудрость старца Зосимы и будущее православной церкви... Почему же не привел он своего героя – Ставрогина – ко всему названному богатству? Говорят, что Евангелие охватывает все – сиянием своего пламени. Что же так тихо, и безучастно, и твердо стоит Ставрогин? Почему не падает отблеск пламени на его красивое лицо? Православие, и будущее, и Голгофа, и искупление отпадают от Николая Ставрогина, как горох от стены. В чем же здесь дело? (О, я шепчу, но очень тихо: Ставрогин – это последнее слово веков!) Вспомним еще Ивана. Еще – героя «Подполья»²². Благодный костер христианства горит от них в неизмеримой дали. И разве (подумаем просто) Ставрогин бы уступил Христу, если бы даже тот вошел в его комнату? Разве что чуть-чуть побледнел, да и то – на миг. Нет, оставьте. Христос – не для всех. Искупление – не для всех. Заботы о будущем – не для всех.

И вот эти-то...

Я понимаю теперь, почему все так любят Христа, Владимира Соловьева, старца Зосиму. Потому, что в глубине души каждого вечно скребутся несколько невыносимых мыслей, которые стремительно подрываются под основы всего. Но подрываться под основы – опасно, и со всех ног он бросается к тем, кто издает толстую книгу или говорит длинную речь, показывающие, что он немалое передумал (гораздо больше, чем ты!), но итог которых покорность, радость, принятие всего!

И снова можно жить. Вопросы, которые скребутся под самым сердцем – притихли. Их обволок розовый туман умиления, чужих выводов, чужой мудрости. И если порой бьется сердце от близости чего-то знакомого... – то это называют сердцебиением, или – раскрывают Евангелие. Одним словом – тут же (вечно, всюду) великий инквизитор, без которого, кажется, и земля перестанет вертеться!

Старец Зосима! Была весна, птички пели в роще, вы бросили назад пистолет и начали становиться святым. Но что если б был октябрь! Что если б... вот в том-то и дело! Ставрогин, на дуэли оскорбивший противника – спокойно вам

возразит. Если б христианский проповедник был страстен, сладострастен, как маркиз де-Сад (пустая случайность, черточка темперамента!), — что случилось бы с христианством? Христово учение не для всех обязательно, а только для тех, кто не знал «скверных мыслей» и сладострастия (блестящий пример «Идиот» — Лев Николаевич Мышкин). Для всех же, в чьих венах течет не вода, а кровь, и не кровь, а вино, надо — закрыть Евангелие.

Ноябрь 1914. Москва.

Читаю «Бесы» во второй раз. Мне хочется подойти к Ставрогину и сказать: «Николай Всеволодович! Навсегда, во всех вопросах и при всех изменениях — все безнадежно?» И глубоко восстаю я против смешных и идеалистических слов о Ставрогине: «он мертвый». Нет. Ставрогин — это самая полная жизнь! В нем, как во мне, еще бушует пафос жизни! Да здравствует разврат, порок, жесты с ушами и носами, поцелуи у всех на глазах, на балу!

Да здравствует холод и пламень жизни, Николай Ставрогин и я!

Ноябрь 1914. Москва.

Если бы я услышала о каком-нибудь замечательном человеке, который за всю свою жизнь написал одну книгу, хотя бы что-нибудь вроде моей, и затем замолчал, я бы, несмотря на то, что большего я и не «требую» от человека и чрезвычайно люблю «замолчавших людей», все же — в глубине души чувствовала недоумение и вопрос. Я не очень люблю абсолютное. Одна книга и все — да. Но мне гораздо ближе — двадцать и тридцать книг — хотя бы по механике, математике, судостроительству, по вопросу стилей и истории религии и коллекции редких растений... Ибо я не понимаю тех, кто, как Кириллов, может жить в четырех стенах, пить чай, думать. Я знаю за собой минуты полного неинтереса к своей «бездне», и безумное увлечение посторонним. Это — жизнь. Иной жизни нет. Да здравствуют Джек Лондон, Майн Рид, Эдиссон, Жюль Верн! Ибо не единой Мыслью должен быть жив человек! Но — каждым лучом солнца, каждым остроумным проектом, каждой дерзновенной мечтой! Больше легкости в жизни, больше дела! Больше смеха, меньше оков! Я буду писать массу книг — и о самом разнообразном. Я сейчас занята писанием блестящей,

глубокой повести, в которой я моего героя арифметически привожу... к Зосимовскому принятию мира!

Декабрь 1914. Москва.

Зная, что все есть бездна, можно было бы, собственно говоря, свободно и спокойно ходить на голове, кричать по-гусиному или делать еще что-нибудь гораздо более дикое, потому что все же ничего достаточно дикого, в нашем положении – положении людей на земле – сделать нельзя!

Октябрь 1914. Москва.

Христиане! Бог в начале мира нам запретил знать добро и зло. Так давайте же – лучше поздно, чем никогда – станем послушными! Были, должно быть, у бога причины, по которым он осознал необходимость этого незнания для нас. Братья! Соединимте руки и забудем Адама и Еву! Каждый век, несущий в себе познание о добре и о зле, богу – обида. Перестанемте же его обижать! Станемте на колени и поблагодарим бога за то, что он раскинул вокруг: бессмысленный, пышный, прекрасный сад, цветущий от края до края! И снова вернется Рай.

О, как странно, что еще не говорили об этом! Забвение добра и зла – это же послушание богу!

Братья! Глубоко падаем мы, все глубже и глубже, в грех! Ангел с гневом поднимает меч перед воротами Рая... Раскаемся! Упадете на землю, и забудем добро и зло!

Познание – это грехопадение. Адам и Ева до познания были чисты. Первым убил Каин, знавший о добре и о зле. Без добра и зла не может быть убийства, потому что не за что убивать. Не будет войн. Не будет богатых и бедных. Братья! Пора! Пора!

Братья, вот я уж падаю на землю, я – первый, скорее, за мной, и, воздев руки к небу, мы обещаем богу – забыть!

Того же дня. Москва.

Условия задачи изобретены, а решения не находится. Господи, постановите: нас, мудрых, оставить в земле; сгнем, и следа не будет; а вы всемогущи и сможете нас позабыть. Мы же вас не признаем, и на суд не стремимся, и соглашаемся гнить в земле. А детей ваших, наших учителей и все мирское ничтожество, святых, теософов, лавочников, замоскворецких

купцов заберите к себе. И судить их не стоит. Они сядут все (тощие теософы и тучные лавочники) на ступенях вашего трона. И будет счастье. И будет гармония. Потом вы встанете и уйдете. Куда — не знаем. Идти некуда. Раздавите их легким шагом своим, как мы, мудрые, давим муравьев, их не замечая. И тогда придите на наше кладбище. Мы — земля; но вы всемогущи; воскресите нас людьми, мудрецами, как прежде. Откройте, наконец, грустное свое лицо, сдерните сияющее покрывало, и тогда — мы будем решать, что делать. Может быть, и решим.

И безвыходны не мы (мы пойдем!), а лавочники и теософы. И в изначальной тьме хоть обретаться никому не сладко, но, пожалуй, мы согласимся. Ибо где же иная арена? Но Савостьянову²³ и Штейнеру очутиться в пустом пространстве — это большой грех!

Слова «суд», «ад», «рай» — грубы. Они режут ухо теософам. Они не произносят их никогда. Но если б знали они, как режут ухо нам: «девять сфер», «искупление», «потусторонний мир» (я уже не говорю об «инкарнациях» и «аурах»!).

Штейнер. Пора перестать. На шею доверчивых мятущихся людей ты накинул искусный аркан. Ничто в нем не грубо; ничто не названо своими именами, точек над «и» — нет; все туманно. Глубокий таинственный лес!

Теософы! Слепленные! Бедные! В этом лесу сидят: суд, ад и рай!

Ноябрь 1914. Москва.

Жизнь нагромождает события, и мы не имеем времени думать. Мне кажется, что в раю, несмотря на всю красоту окружающего, первым людям тотчас же по возникновении должна была прийти в голову мысль: что такое значит «я существую»? И, конечно, так было: ибо почему-нибудь же тронули они древо познания. Это был гениальный по прямоте своей шаг, и нам он теперь не под силу. Мы только слабые отголоски их дерзновения. Кто из нас посмеет спросить?

Тогда были: сад, небо и человек. В наше время этот вопрос должен явиться не в таком чистом виде, потому что слишком много событий, вещей, обязанностей, наслаждения и работы. И через миллиарды лет этот вопрос, пожалуй, сможет совершенно забыться, потому что земля будет загромождена стоэтажными домами, изобретениями, чудесами, колоссальным диапазоном изучения и труда. Небо и вправду станет над

этими людьми синим куполом, ибо где там думать о небе, когда тут же рядом тысячи вещей, требующих внимания, наблюдения. Весь мир станет Америкой, и тогда – не будет тоски. Жизнь станет математическим механизмом. Вопросы уйдут назад.

Вот и новая теория: оптимистическая. Bravo! Будущее земли – счастье! Ибо все несчастье земли в том, что она еще мыслит. Будет счастье. Каждый час будет занят. И в великолепный момент, под напором гигантской волны или в духоте мчащейся мимо кометы – земля рухнет вниз, разобьется вдребезги, и ни единая мысль не успеет потревожить ее счастья. Раздастся только испуганный вопль – и все!

Bravo! Путь земли в смысле «генезиса» движется раком: в начале было слово, был бог, была мысль. В конце не будет слова, не будет бога, не будет мысли. И, пожалуй, сумасшедших не будет.

И если мне укажут на то, что эта теория не согласуется с фактами, я, как Гегель, засмеюсь и скажу: «тем хуже для фактов!»

Ноябрь 1914. Москва.

Все относительно. Все течет. Поэтому нет ни добра, ни зла, ни нравственности, нет греха и нет ценностей. Все глубоко, но, может быть, все поверхностно. Раз ничто не пребывает, то не к чему простирать руки. Ибо уходящее в тот же миг, через край заменяется приходящим!

И стоишь посреди такой жизни невинно и грешником его любишь, всему хочешь «душу отдать», а впрочем, может быть, не схватишься за голову, а просто закуришь и опустишься на диван. «Прекрасный и скрестив руки».

Ноябрь 1914. Москва.

Слушаю музыку, пью чай, думаю. Мы очень преувеличиваем свои чувства. Нет, в сущности, ничего смертельного, а нам кажется, что так многое для нас смертельно. Каждый раз, как мы говорим «ах», нам мнится, будто мы утратили так много! И так часто нам кажется, что мы так многое могли.

В сущности, все гораздо глаже и проще, чем мы думаем. И если есть что-нибудь постоянное в мире – это глубокий покой. От него исходит все – законное и незаконное, но он – основа всего. Все можно перенести, исключая физической боли, да и ее многие переносят.

Ведь это мы выдумали норму жизни, счастья, поступков и всего, и поэтому страдаем каждый раз, как что-нибудь ее переступает. Но стоит не видеть эти нормы, и все спокойно. Любовь, одиночество, смерть другого, обман, ошибка, разочарование, тоска, все это чувства, которые мы очень преувеличили. Так мне думается.

И я знаю (вопреки себе) только одно, что я не преувеличиваю как воздействие на себя — но именно об этом я и не сумею рассказать никогда. Это — музыка. Но, может быть, и это — ошибка.

Январь 1915. Москва.

Глубокий вздох вновь приподнимает мою грудь и мой день: вздох восторга.

Я — невиданное, прекрасное, ослепительное явление, я сейчас роняю на стол голову, и сжимаю руки, а за окном трамваи звенят, и Петроград утопает в вечере, а во мне бушует вся роскошь, весь пафос жизни, и какой-то глубокий всплеск раздается в моей душе!

Вечер. За большими окнами, на которых я нарочно не спустила занавесок — синяя мгла и серебряные огни. Жизнь льется ко мне и моя комната переполнена через край! Вечер.

Отчего я так взволнована? Отчего я так счастлива? Отчего этот вздох восторга? Отчего это удивительное чувство покоя и царственности, и этот медлительный пафос?

Я знаю, что я — это один раз бывающее явление, что оно не повторится никогда и нигде, и что все пройдет. Что не было этого диапазона, этих сил, этих стрел, этой жажды, этой ясности, этого озноба, что все это — единственный раз!

О, как я лечу! Как я ломаю преграды! Как я просто, как я вдохновенно живу! Я стою посреди великолепной и единственной жизни без добра, без зла, с массой свету и массой теней, и с ясным золотым венцом ума и красоты, опущенным на лоб высокий и чистый.

Я знаю, что после полета всегда бывает падение, после венца — удар, но... Но ведь жизнь важна только мгновеньями! Только счастьем! Только сегодняшним вечером! И последнее, чему еще стоит внимать из всех песен, концертов, мелодий, всех бурь, это —

медлительный и торжественный марш —
пафоса жизни!..

Мне никогда никто не дает в руки ценности, ни добро, ни зло... И разве от этого преодоления, от этой свободы не кружится голова? И как все ошибаются, кто меня не любит, кто не обращает на меня глаз.

Я – сокровище из сокровищ, я – пафос жизни, я – ток света и сноп теней, я – великолепная пальма, дающая тень каждому, кто захочет... Руки мои наподобие радуги кинуты над землей!..

И еще – я ковер, по которому мягко ступать...

Я – стрела, разящая больно,

я – волшебная палочка, которою все превращается,

я – смычок!

Октябрь 1914. Петроград.

И весь этот день, как облако золотое, проносится над взволнованной головой моей, над холодными улицами Петрограда, над этой великолепной жизнью – в силе и славе своей!..

«Порок!» Я уже начинаю обожать это слово! И что же я такое, если не прекрасный и умный «порок?!»

Я смотрю на себя в зеркало и говорю: «Не было еще этого, никогда и нигде, не было, не было, не было, никого, как я, не было, не было, слышите ли!»

И как весело мне стоять на обломках мира, и под сияние церквей, в тишине колокольного звона смеяться невыразимо, победно, тихо, и голова уже кружится...

О, друзья мои, я скажу вам очень много, – слушайте внимательно, потому что я знаю наверное, что никто никогда вам еще не говорил так этих слов:

весело в мире.

И веселие – это не только не «неприлично», как когда-то говорил Эллис²⁴, упав ниц перед католическою церковью, но это единственное, что остается нам в этом мире, в лучшем из возможных миров!

Иногда, когда скрестив руки, я стою в стороне, и смотрю на себя, на то, как гигантскими шагами я перехожу с ясным взглядом и с безумно кружащейся головой, по всем (поперек, вдоль, вверх, вниз) дорогам мира, легким шагом своим топча все, говоря, любя, всем кидая руки на плечи, слыша, как ветер свистит кругом, видя, как парус наполняется током ветра –

мне кажется: что-то безумное происходит перед моими глазами. Но помните одно: я еще не кричу по-гусиному и не хожу на голове. Значит, все в порядке, и я еще далеко не все растоптала в лучшем из возможных миров!

Мне кажется, что когда-нибудь я пойду к зеркалу, взгляну на себя, и сойду с ума: от себя; от своего взгляда; от своих крыльев; от веселья своего. Еще одно слово, мои внимательные слушатели, еще одна истина: убить процентщицу, сжечь храм Дианы,²⁵ достать небесный огонь, переоценить ценности – все это не выше горы Гауризанкара²⁶ на нашем земном шаре. Булавочная головка на поверхности глобуса. И, пожалуй, чуть-чуть остроумней один проект – изобрести взрывчатое вещество (жаль, не хватит науки), чтобы взорвать всю землю. И мой ответ, что я охотно буду при этом присутствовать, он тоже... довольно хорош!

Лежу на диване, сжав руками голову, смотрю, думаю:

«Все упало и все-таки мало воздуху. Почти что нечем дышать. Тихо. Лежу на диване, и не хочется даже сделать движения – так все ясно. Ты меня хочешь? Бери. Почему я тебе откажу? Ты слышишь, как тихо? Бери. Берите. Этот день никогда не повторится. Мои слова не поймет ни одна женщина, не поймет никто. Знаешь, что я слышу ужасно ясно? Как земля летит. Очень страшно. Бери меня скорей, мне хочется, чтобы не было так тихо. Ах! бедный, Тебе тоже нечем дышать!»

Еще одно слово: как же другие? Как они-то, несчастные, дышат, когда их плечи давят дома, дела, польза, честность, надежда и труд? Когда они непременно должны поднять руку каждый раз, как проходят близ церкви? Когда их шаги стянуты кандалами, на которых начертано «долг».

Что ты говоришь? Я не слышу. Говори громче. Да, ты прав. Можно сказать твои слова громко (ведь они все равно не поймут). Ты сказал: «Душно от простору». Ты сказал: «Когда стяхнешь с себя кандалы – тогда обнимает холод». Да, да. Очень душно и очень холодно. И, знаешь, как странно: полет земли, который я ясно слышу, он совершенно не уменьшает тишину. Он только ее оттеняет. Что ты говоришь? Ах, бедный, я вижу, я знаю, говорить очень трудно, слова как-то не идут с губ! Очень душно. Да, я понимаю, у меня уже голова кружится, – тебе тоже нечем дышать!»

И еще — этот глубокий вздох, когда я, перечтя это, упала сейчас на диван, и на миг — тихо. Звенят трамваи. Огоньки. Вечер.

«Этот день никогда не повторится, слышишь? Этот день никогда не повторится», — говорю я, и мой голос внезапно стал громок, «ты слышишь?»

Ах, ах, ах, как земля летит...

Октябрь 1914. Петроград.

И з п и с ь м а.

«...но вот в единое не верю и никогда не уверю, — это в то, что верите Вы в Творца. Не могу. Мне больно. Не смейтесь. Не качайте головой. Не предрекайте. То ли еще может быть, будет, когда мне исполнится 60 лет!²⁷ Я, может быть, и церковь построю и гроб заранее себе закажу, и к угодникам буду прикладываться. Но в том ли дело! А уж если это так важно, то лучше скажите мне коротко: «Ася, ты права, но это все пройдет, и в старости ты, конечно, скажешь иное. Поверишь в Творца — нельзя не верить. Иначе тотчас же пулю в лоб, помни это!» И больше мне ничего не нужно. Я не веду за собой, не зову, не проповедую, не учу. Но — тихо — я сажусь у колен каждого, кого я люблю, и говорю: «Все безнадежно». И если в чистый и тихий миг, когда я спрошу Вас, так ли это, Вы мне ответите «нет» — я сразу от Вас отступлюсь. Вы — не мой, Вы гоните от себя ветер, Вы не можете даже прошептать правду. Этот шопот я требую. Без него нет ничего. А там — пусть, пусть, пусть лампадки горят!

Я верю в Вашу чистоту — совершенно, неопровержимо, свято. Вы на той высоте, где все чисто. И я тоже на этой высоте. Мне тут все знакомо. Эта чистота испещрена ранами, и гной есть. Но есть и солнце над ними, которое превращает этот гной в чистую, кристальную воду. И опять все чисто. Нет ничего нечистого. В Вас и во мне — нет».

«Но есть два чувства, когда глядишь в пустоту. Первое гласит: я — все, второе же: я — ничто. Ибо что такое «все?» Что такое «быть всем?» О, полет мысли, о... да! Но руки крепко скованы кандалами. И во мне вечно бушуют два моря: море жизни и море холода. И какое из них я больше люблю — я сама не знаю! Когда-нибудь, в миг торжественный и великий, королевская кровь моя заговорит с таким пафосом,

что, конечно, не найдет в себе иных слов, кроме: «что я? – Ничто!»

«В итоге, перед людьми, объективно, лучшая моя книга будет меньше томов Железнова²⁸ и Маркса, и «самый гениальный» поступок мой будет дымом, от которого закроют они глаза свои. А то, что будет уже не дымом в глазах людей, а пожаром, молотом, сумасшествием, – это для меня просто и близко, как мое собственное лицо. Делать все, что я хочу. Дышать воздухом глубочайшим. Убивать процентщиц. Жечь Эфесские храмы. И то, что для меня есть – комнатный воздух, то для них есть – гроза!»

Ноябрь 1914. Москва.

В человечестве на сто человек (может быть, на тысячу, на миллион) – один умный. Остальные интеллигентны и тупы. Но и умный, побыв некоторое время таковым, добровольно становится глупым. И таким образом человечество ровно и мерно... стоит на месте!

Ноябрь 1914. Москва.

Прочла «Елеазар» Андреева²⁹. Хорошо. Но я не люблю такого писания. Может быть, нехудожественно. Мне гораздо милее странички Чехова с его удивительной простотой. Тут («Елеазар»), может быть, та ошибка, что смерть зашла в жизнь. Этого не бывает. У Чехова жизнь есть жизнь: все тихо, весело, скучно, не «сказочно», диковинно, смешно, кому грустно, кому смешно – не разберешь, – это есть, может быть, то самое последнее слово, дальше которого в книгах идти нельзя. «Елеазар» – вымысел, ложь, фальшивая нота. Ибо смерти не знает никто, и не знает Андреев. Всегда только на краю. Так, наверное, надо. Тише, проще, художественней.

Ноябрь 1914. Москва.

У кого искать оплота?³⁰ У старых друзей, у новых или у будущих? У вещей? У комнат? У пейзажей? У мелодий? У запахов? У...

В конце концов лучше всего – у какой-нибудь старой тетушки, которая Вас носила на руках. Она Вам устроит теплую и чистую комнату, будет считать и штопать Ваше белье; длинно рассказывать о прошлом давно знакомое; вспоминать Вас маленьким, вздыхать о Вашем умершем отце

или матери... О, как такая мысль меня захватывает! Как от нее горько! И как тихо!.. Почему бы не так? Разве это не в тысячу раз прочней всех встреч в вагоне и на курорте. Где Вы найдете такое тепло? Слова холодны; обещания через год становятся сгоревшим костром, от них пепел в душе. И если хотите любви – идите в Ваш старый домик над Окой, над Волгой, где шелестит сад, и в палисаднике бродят куры, и на террасе шумит самовар. Это единственное, что не прошло еще с Вашего детства!

Мерно стучат часы – еще Вашего дедушки, на доске раскатывается тесто, и на окне, на листе бумаги сушатся темные вишни. Вы пишете. Или, склонившись над Кантовским томом, или (лучше) просто в старом кресле, с папиросой в руке, Вы рассеянно смотрите на синий дымок и знаете, что всюду – бездна, бездна и бездна, и мир для Вас пуст. А позади – стучат колеса поездов и звучат вальсы, мелькают лица, качаются пальмы, и догорает в роскошных комнатах огонь, пусть Вы – Байрон, Дон-Жуан, Ставрогин, Раскольников или Болконский (это все равно), пусть Вы решаете последний вопрос: как умереть. Чтобы доказать своеволие или – ничего не доказывая...

Может быть Вы в уме перечеркнули давно «Критику чистого разума», и, как Шигалев, хотите кудо-то людей вести за собой, как Ипполит четверть часа говорит с ними, пусть Вас мир задавил тяжестью какой-то миссии (наверное, через десять дней, в том же кресле, под тот же звук часов и завывание ветра, эта миссия распадется на Ваших глазах, лопнет, как мыльный пузырь, станет дымом и вокруг – еще тише, еще больше свободы, еще меньше всего... Пусть на столе лежат тетради с какой-нибудь новой теорией Раскольникова или Шигалевским проектом – мир не дрогнет! О, мир прекрасен! Мир – это радость о жизни! Несколько бокалов вина, несколько речей и бесед, и главное – смена и счастье! Смена и счастье!

Через несколько лет, над другой рекой, в другом домике, в другом старом кресле, будет под дым папирос той же, может быть, фабрики, изобретаться новый проект!

Цель всего! – Стать Раскольниковым или Ставрогиным, или Кирилловым или Фридрихом Ницше, слушать, как тикают часы за стеной, быть странным гостем на бале, и чудачком, «погибающим человеком» или «больным», курить, молча

встать к самовару, есть мед и варенье из земляники. Курить, курить, курить, в дождь идти в сад, слушать шуршание листьев, нелепо полюбить какую-нибудь девушку (Вам тридцать пять лет, ей – пятнадцать), смотреть на нее, как смотрит умирающий на цветочек нарцисса, раз или два пожать крепче, чем нужно, руку, что-то попробовать сказать... С неделю сопровождать ее на прогулку или кататься с нею по парку верхом. И увидеть: влажный блеск глаз и услышать какой-то первый трепет. И может быть – тонкие ее руки, кинутые к Вам на плечи – под светом далекой звезды!

И вечером – Ваше волнение у окна, за которым глухо шумят березы, и ворох окурков, и молчание в ответ на приглашение к чаю, и мерный Ваш шаг до полуночи, эта длинная ночь, этот рассвет, я их вижу! Я знаю, как в эти ночи все прошлое и все будущее загорается перед глазами; знаю, как манит земля, знаю, как дорог этот пиджак, которого ее ручки коснулись, как все Ваши последние годы готовы уплыть как дым. Все рухнуло – еще раз – и повисло на ниточке! Знаю: за вечер с ней, за одну ночь до рассвета... Знаю, все знаю!.. И ветер глухо шумит.

А потом – не все ли равно? – традиционный стакан с вином, или стихи, как Тютчев, или сонеты Верлена, или смех Ипполита, или письмо Ставрогина к Дарье Павловне...³¹ Все это разные странички той же книги. Название этой книги тоже знакомо: «История лишнего человека».

А тем временем в палисаднике бродит петух и на цепи визжит собака, и крыжовник зреет в саду. Дедушкины часы тикают громко. Если осень – то ветер воет в трубе, если лето – великолепный, ясный вечер медленно опустился на сад! Любимый месяц! Звезды падают. Астры цветут на клумбах. На сковородке шипят грибы в свежей сметане, в корзинках груды яблок и слив. Хлопнула парусина террасы, пропуская Вас, липы, отцветшие, высятся в небе. Тепло. Щенки кидаются Вам под ноги. За горой, куда Вы ходили гулять мальчиком, ярко, желто гаснет закат.

Август! Любимый месяц! Как тихо!

Липы шумят... Далеко тренькает в степи колокольчик, кто-то к кому-то спешит!

Вечером, после ужина, после долгого разговора, за которым тетушка Вам решила сказать... тут есть пожилой помещик, и у него дочка... Конечно, еще бы не скучать, разве можно

жить одному! А как своим домиком заживете – скуки и не видать! Над бездной вам строится домик, цветет собственный сад, бегают ваши дети, жена с прелестным лицом и ясной улыбкой помогает накрывать на стол. Скрипят качели, смех...

У девушки этой – приданое. Ее батюшка служил еще при покойном...

Вы – добрый! Не прерывайте! Скажите, что вы подумаете. Так? Вот вы хоть раз не разбили чьих-то мечтаний.

Бьют часы. Тик-так. Тик-так. Вечер.

«Я подумаю». Думаете? Думайте! В ивах щелкает соловей.*

Если уж Вы не можете заботиться и хоть на час поверить в то, что курите Вы от скуки, а скучаете от безделья, а дела нет оттого, что нет той, с которой вы бы его разделили, если перед Вами неотступно стоят все блестящие года Вашей жизни, и если где-нибудь в глубине портфеля еще хранится портрет... Если, когда опустил на дом и на сад вечер, и Вы снова не вышли к чаю, Вы бесцельно слушаете, как в печке трещат дрова, и, улыбаясь традиционности положения – воспоминанию перед огнем, Вы вдруг чувствуете... Вы вдруг слышите... все головокружительные слова, которые Вам говорили, и все то, что наедине...

Встаньте скорей со стула! Подойдите к окну, распахните его. Черный сентябрьский вечер, ветер воет в трубе, где-то стучит ставня, мокрые от дождя, отряхаются кусты и деревья. Так и Ницше стоял у окна, так и Раскольников, и Ставрогин. Крепитесь. Все было! Все будет! По великой земле не так мало еще раскинуто братьев! Над стаканом вина, в каторге, в смертельной болезни... Далеко-о в черной ночи тренькает колокольчик. Кто-то спешит!

Если назад уже нет пути, и прогулка в саду, среди блеска солнца и шелеста листьев, под жарким небом какого-нибудь беспечного июльского дня, Вас не спасет, если все будет конечно, – после Вашей смерти в маленьком домике через сорок дней настанет спокойствие! В окрестных церквах за Вас будут гореть в пустоте свечи, о Вас будут каждый вечер молиться... И через теплую и ясную веру Вашей старушки – Бог Вас простит! И опять-таки: только здесь все будет тихо

* Практическое замечание: если дело происходит в августе, то тогда не бывает соловьев (прим. авт.).

и чисто; книги Ваши с заботой уберутся в пузатый комод; на могиле будут цветы и будут звучать панихиды...

Если есть место, где Вас не отвергнут и где Вас объяснят — это в родном Вашем домике!

Тридцать лет назад Вы здесь бегали мальчиком. Спите!

Август 1914. Коктебель.

Человек живет в среднем пятьдесят лет на земле, и любит свое отечество. Француз считает, что Франция — первая страна в мире, и что будущее принадлежит ей. Англичанин считает, что Англия первая страна в мире, и что будущее принадлежит ей. Смотрю и думаю: как везде, ужасающая нелепость. В совершенно безнадежном положении своем люди нашли оригинальные выходы. Препровождение же времени этих людей едва поддается описанию. Прежде всего — каждый честен. Вслед за этим — предан отечеству. Дальше — стремится приносить пользу. Еще далее — умирает. И вот этот диковинный план жизни установлен в каждой стране для обязательного подражания. В настоящее время я несу на себе долг негодовать на врагов и минимум часов 5–6 своего времени тратить на чтение газет³² и споры с моими домашними о том, совершенно ли безумен Вильгельм, или на половину, или на половину, или только на четверть. И каждый день кончается восклицанием, что первая страна в мире — Россия, и что будущее принадлежит ей.

Позволят ли мне сказать несколько слов? Стою, наклонясь над глубиной жизни, и передаю те слова, что звучат мне оттуда. Я — x , живу y лет на земле, которая есть z (три неизвестных) и, положим, с жадной стараюсь понять окружающее. Из всего восстает, надо всем, точно радуга, опустившись, стоит единственно данное мне: что может быть сегодня, может быть завтра, может быть через тридцать лет — меня положат в землю, закопают в ней и — навек.

Я стою, не отрывая глаз от этой удивительной радуги, в которой мне не понятно ничто, но которая манит, как сфинкс. И вижу, что все вокруг побледнело, отступило и рухнуло. Каменная голова сфинкса, позеленевшая от тысячелетий, молча глядит на меня. Предположим, что я испугался, побежал домой, лег к себе на постель и лежу. Рассвело. Стал день. Соседи мои идут на службу, в школах учат учеников, в думах

и генеральных штабах решаются судьбы страны. Я лежу. Как вчера, часы тикают. Снег падает. Но уже нет ничего.

Господа. Странное рождается в глубине души моей любопытство: что если б враг завоевал города, и если б несметные полчища варваров победоносно вступили сюда. На вывесках несколько новых фамилий, Чуев, Филиппов и Бландов³³ упразднены, на Марсовом поле солдаты в блестящих шлемах, слышится чужой язык.

Но позвольте мне уж скорей досказать то, что думаю. Жаль. Очень жаль. Мне по-тургеневски, романтически жаль — дворянских гнезд. Неужели не проедет по полю телега и не донесется песнь? Неужели не будет пахнуть дегтем и не будет берез? Неужели срубят леса и поставят гостиницы? Жаль! Но странно одно: что имей я случай родиться в другой стране, я бы себя чувствовала совершенно такой же счастливой (в глубоком смысле слова), как сейчас. В свободное время вместо «Коробушки» и я пела бы «Ninon» и «Andreas Hofer». А в несвободное, в глубокое мое время — те же Кант, и Фихте, и Шеллинг,³⁴ и Ницше — лежали передо мной. Было бы так же шумно, так же тихо. Гармония и дисгармония мира не двинулась бы ни на шаг! Жаль — что говорить — дворянских усадеб! Жаль Кольцова,³⁵ пашен, серпов, многого жаль...

Но странное рождается в глубине души моей соображение: может быть, сегодня, может быть, завтра, — меня заруют в землю — навек: ни Германии, ни Вильгельма, ни доблестного короля Альберта, ни России, ни Кольцова, ни пашен. И уж, сорвавшись с цепи, господа, продолжаю: ни мыслей, ни книг, ни дыхания, ни движения, ни жизни, ни смерти, ни-че-го.

Господа. Вы возмущаетесь против врага за то, что он может отнять у вас Бландова, пейзаж полей и свободу русского духа — так что же вы, господа, неужели земля-то не давит? (да может быть и лучше, кабы давила, а то ведь как есть — ничего), ваш дух горд, господа, я читаю газеты, вы высоко несете свой флаг! Вы всей душой ненавидите немцев и рисуете карикатуры на них, вы доблестно боретесь против насилия, вы не хотите отдать ничего. И завтра же каждый из вас отдаст все! О гениальность!

О, господа! Я приветствую того смельчака, который первый нарисует карикатуру — на смерть!

Все продолжаю стоять, наклоняясь над землей, и смотрю: шумят через край переполненные города, по морям спешат пароходы, ниточки поездов блестят, летя по равнинам. Я бы очень хотела, чтобы ввиду одного опыта мне бы дозволилось (не все ли богу равно!) лишних лет двадцать-тридцать прожить на земле. Я привязана (склонность естественная и, можно даже назвать, благородная) к своим современникам, и с плачем провожаю их в землю. И вот настал мой последний день, день моего горького «опыта». Я исступленно ищу хоть одно знакомое лицо, бегаю, несмотря на старость, по улицам, по домам, все – новое, нашего – ничего. Под конец этого дня я прихожу (куда бы Вы думали) – на широкое, тихое, мрамором крытое кладбище. Иду и мутится в глазах; все знакомые имена. Кое-где вставлен в камень портрет, кое-где крест упал, там и сям холмик сравнялся с землей. Тихо. Стоит прекрасный весенний день, апрель, как давно, как когда-то. Юная зелень цветет. Птицы поют. Сторож из молодых, с лопаткой проходит мимо меня. Были: войны; правительства; книги. Тут Бисмарк; тут Петр Великий; Наполеон; Ницше; Марат и Шарлотта Корде, и рядом – какой-то чиновничек... Называю имя. Другое. Зову. Спрашиваю. Молчание. Знаю, что под этим холмом лежит один из умнейших людей. Помню, как этот великолепно говорил на собрании. Этот верил в бессмертие души. Были вулканы, водопады.

Все тихо. Птички поют.

Опыт мой, ты удался! Из земли мы возникли, в нее возвращаемся... Всё есть – земля!

Господа. Еще один маленький опыт. Не могли бы мы, пока мы еще живы, согласиться и – всего один раз – в такой-то час, оратор, писатель, король, командир, рабочий, пророк и приказчик – войти в ворота кладбища, и молча пройти по главной аллее, подходя к тому и другому кресту. «Оратор такой-то, писатель такой-то, командир, король»... Что же вы не дочитываете? Разве на кладбище мало воздуха, что вам вдруг становится душно? Или горечь вы ощутили, оратор – от слов, писатель – от букв, король – от повелевания?

Я стою в стороне и вижу, как вы выходите с кладбища, и мне чудится будто бы – сам Вильгельм вам сейчас брат. И

еще, будто бы – с невероятным чувством тоски, Вы, король, взойдете на тон!

Горечь не пройдет, не старайтесь! Кому это знать, как не мне! Рецептов нет!

Фанфары, гремите! Блести, вино! Девушки, смейтесь! Ракеты, взлетайте в небо! Ожерелья, сверкайте, благоухайте, цветы. Лиза, скачи на коне, вейтесь кудри!

Оратор, командир и король – каждый на своем возвышении – Вы стоите, подобный Ставрогину: «прекрасный и скрестив руки». И уже никогда речь Ваша не прогремит с пафосом. «Говорить? О чем? Нет, не желаю...»^{*} И уже ни одна улыбка не тронет ваших царственных губ. Все смешалось...

Вильгельм и Альберт и будущее первой в мире страны, безделье и дело, и если только еще хватит энергии в Вас, король, Вы на совете придворных вдруг скажете, чтобы прекратили войну и распустили еще живых по домам. И когда Вам донесут, что Ваш враг уже на границе, вы скажете: не все ли равно! И, если Вас еще не посадили в сумасшедший дом, Вы прибавите (улыбка Ваша прекрасна, мой друг!), что это даже и любопытно присутствовать при таком событии. Хотя... Вот и не знаю я, юный король, что Вам и посоветовать (ведь я как бы на положении советника после сего многословия), что посоветовать Вам? С одной стороны, оно и ничего себе, любопытно, что вот была страна и вдруг ее нет; но, ведь, есть, пожалуй, вещи и любопытней! Уж хоть бы к примеру сказать: было все, и вдруг – ничего.

И что будет вслед за тем на этой земле, которую мы обожаем, кто над ней будет царем: Христос, Кант, Альберт, какая страна будет первая в мире и какое будет в ней управление, что будет в Москве через тысячу и через восемь миллиардов лет, все ли на двух ногах будут ходить люди, откроют ли четырнадцать (вместо трех) измерений, и реки побегут ли вспять, станет ли тишина шумом, и шум – тишиной, мы, никто из нас, ни Вы, царь, ни я, раб, не узнаем: потому что мы давно будем – землей. Из мысли, деяния, красоты мы станем черноземной почвой. Удобрять нами будут то поле, по которому мы скакали верхом!

* Слова Ставрогина, «Бесы» (прим. авт.).

Видите ли, король, эти слова — это — единственная реальность. Большого нет ничего и нигде, ни у Канта, ни у Спинозы.³⁶

Дать Вам совет?

Когда в Ваше царство войдет враг, Вам нужно осторожно уехать — есть такая удивительная страна — тамбурин, кастаньеты! Можно и бой быков, теперь — можно! Вам откроется возможность четырнадцати измерений, и реки с шумом побегут назад; и гора войдет в море; не напряжением веры, но легким мановеньем руки!

И вот тут, мой король, оставивший свое царство, которого клеймят позорными именами, Вы неожиданно обретете — царство первое на земле! Точно в сказке, Вы пойдете по дороге с посохом из тростника, свою порфиру продайте за хороший табак, рюмку кьянти и фунт шоколада, и не будет, мой друг, на земле, никого счастливее Вас!

Есть город. Невдалеке от него вулкан, как на картинках, дымится. И зеркальный синий залив — горяч. Там, среди смуглых юношей в полосатых фуфайках, и стариков с трубкой в зубах, — лягте на теплую землю и закиньте за голову руки! И глядите, как в перламутровой дали — плавают паруса!

Ноябрь 1914. Москва.

...«Жаль, что мандаринов не будет в этом году — из-за войны».

Вот еще аргумент: почему я должна плакать над тем, что при мне убили в эти месяцы около миллиона людей? Ведь за тысячелетия существования земли умерли и убиты — биллионы. Я прежде хочу расчитаться с теми, и затем перейду — к этим. Тут все дело в крепости и слабости нервов, и в том, как люди умеют закрывать глаза. Мои глаза открыты широко, и мои нервы крепки. Это делает мне несомненную честь.

Любопытно, что люди забывают, что вовсе не всякое кладбище огорожено заборами и решетками, ибо оно решительно всюду, под дорожками самых золотистых садов, и под самыми веселыми фантанами. Я это помню — всегда!

Декабрь 1914. Москва.

Я сидела в Большом театре и глядела вокруг. Справа и слева, легко висели в воздухе длинные балконы с треугольниками лож и тяжелыми узорами вычурной позолоты, сверху

сияла диадема огней, и маленькие по бокам. Занавес, раскрашенный ярко фантастическим полетом каких-то ангелов и дев с длинными золотыми трубами, был так удивительно примитивен и мил. Платья, прически, лица, бинокли, веера, афиши, конфеты. Дети в клетчатых платьях и мундирчиках, очарование лож – о волнение Большого театра! Вот музыканты начали настраивать оркестр; длинные звуки. У кого-то под рукой затанцевал смычок отрывистыми легкими нотами, и замолк. Прозвучал звонок, и зала стала волшебной; вверху погасла (еле тлеет диадема, сливаясь с тьмой) люстра, и бра по бокам, мягкая мгла наполнила воздух, снизу занавес осветился зеленым светом, ждут, темно, оркестр заиграл, – только треугольники лож, освещенные, прорезают ночь. Тихо, сладко, заманчиво, под длинные звуки музыки – поднимается занавес. Партер осветился. На сцене – лунная ночь. Зеленые краски, картонные кудри деревьев, и меж ними громадный шар – золотая луна.

Я сидела и думала о том, как это удивительно, что люди любят театр. Те же, что в банках считают деньги, и в школах учат других; мудрые, старые, молодые, честные и нечестные – все любят театр. Все сейчас смотрят, не отрывая глаз, на сцену. А там, в сказочной, картонной, позолоченной рамке несколько дев в легких платьях, освещенные ярким бенгальским огнем, танцуют, еле касаясь земли. Блещут их лица и руки, сияют платья и волосы, вот летит бабочка – балерина, как пушинка, как сон. Сзади небо начинает тлеть розовым светом, и луна вдруг – золотой шарик – погасла, и картон загорелся зарей, и кудрявые облака стали красными. Справа, слева, выбегают группы танцоров, и танцуют, легко потрясая над головой, кто – цветы, кто – бубен. И музыка вторит. И глубокое волшебство. Что это? Это искусство? Нет, нет. Потому что если б то, что мы сейчас видим, нам бы показали в рамках, на выставке, мы бы сказали, что это – ужас, уродство, бездарность, нам бы это резнуло глаз. Зеленая ночь; желтая луна; в красном луче танцующие женщины. О, ужас! Да это хуже, чем «Остров мертвых» Беклина,³⁷ хуже, чем Баллестриери! В чем же тут дело? Уж искусство ли это? Не просто ли – сон?

Ах, еще, кажется, не все потеряно, если люди сидят в театре! Как наивно, как трогательно, что мы любим бенгальский огонь! Как хорошо, что все волнуются от Тореадора!

Что Большой театр весь в позолоте! Что ночь – ярко-зеленая; луна – ярко-желтая. И красные облака.

О, то, чего никогда не будет! О, волшебное зрелище! О, тихий ропот флейт и длинные звуки скрипок! Не есть ли это желанный шум от бегущих назад – рек!

Почему не напишут пьесы, где луна меж синих деревьев – квадратная, и люди ходят на головах, и на огненной колеснице едет Феб где рай цветет меж Евфратом и Тигром, и возвышаются горы из бриллиантов и золота,

почему,

почему, не представить нашу родную Волгу, вытекающей из Каспийского моря и впадающей в свой исток, героев не стареющими, как Дориан Грей, и розы растущими на стенах,

почему,

почему в мире так мало фантазии! Так мало желаний! Так мало жажды! Почему каждый из нас только в раннем детстве просил, чтобы ему дали с неба – луну!

Декабрь 1914. Москва.

Сумею ли описать! Но те, кто знает, как в бокалах блестит шампанское, и как через соломинку пьешь ликер, как легкая дрожь тоски пробегает по сердцу от порхающего смычка, вы, мужчины, прелестные и волнующие, вы, женщины, с утомленным и восторженным жестом падающие на диван, вы, ковры и боа и рампа, и терзающие душу духи, маленькая ножка в позолоченной туфле, ласка страусового пера, ах, что хотите: гондола, express, Яр, ³⁴ горящий огнями, – все легкое – в жизни, о маски, как головокружительно глубоко!

Третьего дня я сидела, слушая имена Фихте и Шеллинга. И перед ними я произношу особенно четко, особенно потрясенно – следующие слова:

– Я могла бы всю жизнь простоять над платком, напоенным духами, и не пожалеть о том! Опершись о бархатный обод ложи, слушая, как играет оркестр... Веер бы трогал порой мои разгоряченные щеки душностью страусового пера, зубы мои блестели бы, нежный слой пудры тронул бы бархатность щек, брови, черными стрелками проведенные ровно, словно крылья бабочек, останавливали бы взгляд... Длинный шлейф моего атласного платья медленно бы прошелестел, когда я, встав, оперлась бы о руку моего кавалера. Взгляд мой был

бы чист, как всегда. Голова бы моя кружилась. Вокруг меня — с неистовой жадой — паясничали бы смычки!

Как маленькие вещи больше больших! «Мелкие» — глубже «глубоких!» И если существует идея — она не в государственных думах. Не в думах, не в университетах, а в маскарадах и *café chantant*!

Ораторы, пророки, проповедники, учитесь у бабочек, у танцев, у скрипок! Замолкните. Я требую. На миг. Закройте книги. Сойдите с кафедр. Расступитесь.

Дайте дорогу — я распахиваю дверь:

легко, гримасничая, танцуя, идет мимо вас маскарад, пары сплетаются в вихре вальса, диадемы, алмазы блестят, кто-то сорвал с нее маску, лицо просияло, промчалось красное домино, хохот слышится, тамбурин звенит, скрипка, атласные волны, ножки и кружева. Пахнет ландышем и, кажется, розой, кто-то уронил платок, маркиз и маркиза плывут в медленном тенце, ангел с белыми крыльями, и, весь в золоте и раскрашенный, мчится паяц...

Яд. Смерть. Любовь. Хохот. Пафос. Ах, что это? Что это?? Что это?! Что это!

Ноябрь 1914. Москва.

Если философ — это тот, кто, отвергая прежнее, дает свое, то я не философ. Потому что я не отвергаю прежнего. Но если философ — тот, кто настаивает на своем, я — философ. Но вот еще удивительно мое несходство с другими и мое кристальное первенство: моя «бесконечность» не стоит наряду, как недавно мне говорил этот «некто», — с «субстанцией», «волей», «пробыванием», не стоит, потому что я же ею ничего не разрешаю. Вся моя философская система сводится к констатированию бесконечности. Я в мою «бесконечность» вмещаю и бога и разум, и а priori, эмпирический мир, пребывание и движение, я ни единого учения не отвергаю, я допускаю, что все они правы. Я допускаю (еще глубже), что, действительно, прав кто-нибудь из них (хоть Кант, хоть Платон, хоть Спиноза) — но говорю: вокруг этого — бесконечность. И от этого не уйти. Ибо беспредельное перенести невозможно. А предел — это забор на пути, не больше. Есть конец или нет конца, — все равно, нет конца. И если бог наполнил собой без остатка всю беспредельность, то есть ли это утешение? Нет. Ибо я могу мыслить сколько хочу беспредельностей.

Мои слова — это бесконечно громадный круг, который вмещает в себя все, что еще скажут. Но...

И последнее мое возражение, отрицание, утверждение: пусть мне докажут, что пустота не наполнена, что всюду — эфир, что нет пустоты, мне это так безразлично, что я даже не возражаю. Ну, полнота, ну, не круглой окажется земля, а квадратной, и солнце ходит вокруг земли. И все неподвижно. Не все ли равно? Понимаете ли глубину моей мысли? Повторяю: это все равно. Я не верю в бога, но дайте мне бога, покажите мне бога, и я совершенно не дрогну. Дайте мне гармонию. Дайте мне вечную жизнь. Дайте мне кругом земли не воздух, а мед. И пусть облака будут сказочными ладьями, и пусть реки побегут вспять —

повторяю раз навсегда: все безнадежно. Все, что сможет существовать — будет нелепо. Потому что, наверное, надо было, чтобы никогда ничего не было. Случилось иначе, и каждое преобразование, каждая мечта — усугубляют нелепость. О, я не говорю, что я не была бы счастлива от кораблей в небе, от бегущих назад рек. Но ведь я и сейчас счастлива. Но я счастлива и я говорю: это нелепо. Всюду, даже за пределами вселенной, все безнадежно. Раз навсегда.

Ноябрь 1914. Москва.

Я с ним провела несколько часов в самой интересной беседе. Он видит в жизни кинематограф. Я — театр. Призрачное, забавное. Пафос, эффектное. Близко.

«Да, конечно, все в основе своей совершенно безнадежно, — сказал он, — но только я вижу, что Вы еще как будто протестуете против чего-то. Вы много тратите сил. Вы после об этом, может быть, пожалеете. Смотрите на жизнь со стороны ее забавности. Все забавно».

Я ответила: «Для Вас жизнь кинематографична. Для меня она театральна. Я глубоко понимаю Вас, но я еще охвачена пафосом зрелищ и слов»... Видите, я права!

По великой земле не так мало раскинуто братьев! Рамки раздвигаются. Может быть, все в мире для меня передвинется еще настолько, что когда-нибудь я скажу: «Что вы! Какая же безнадежность! Миллиарды надежд!» И я уже не буду, как сейчас, надменным жестом, поднимать к глазам моего лорнета. Я уже не буду охвачена трепетом. И может быть, я никогда

не буду плакать. И грусть, и тоска – все исчезнет... И пафос исчезнет. И кинематограф сломается!

Октябрь 1914. Москва.

Утром я шла по улице и вдруг поняла, что все призрачно и забавно. Я на все смотрела одинаково: на мостовую и катафалк, и дома и людей. Я подумала о моей смерти и не испугалась. Все – призрак. Сознание «я» в первый раз во мне утерялось. На улицах лежал снег.

Я, как человек, стоявший на дебаркадере с пустыми руками, и вдруг увидевший, что в руке у него хоть маленький, но чемодан. Рука разжалась, чемоданчик упал. Я, может быть, еще подниму мой чемоданчик, и пафос жизни вернется ко мне, но сегодня я в первый раз поняла, что границ, «последнего» – нет. Все есть углубление. И в первый раз я подумала, что смерть может стать не страшна. И в первый раз мне показалось, что я все-таки еще не стою на грани. Что за мной идут. И может быть через тысячи лет эти слова будут ребяческим лепетом. С восторгом, с вдохновением, с любовью я шлю мой привет вперед, на тысячи лет!

Пусть они будут язык, я – их азбука!

О, как глубоки те безумные наслаждения, бытие которых обеспечится на земле! Может быть, мысль еще только трепещет крылами. Но распахнет и... Да, может быть, не будет ни слов, ни дел, ничего. Но один сплошной ужас. Или тишина. Или музыка.

Удивительный день моей жизни!

Октябрь 1914. Москва.

Зачем столько скорби о мире? Зачем вообще скорбь? Разве уместна скорбь на такой нелепой арене, как наша земля?

Да скажите же мне, наконец, кто посмеет мне приказать или кто дерзнет меня попросить все это принимать – всерьез? Почему я должна (уж не говорю об идейности) относиться внимательно к окружающему? Все это для меня – не всерьез! Если я хочу, я могу хохотать решительно надо всем в мире (потому что я ведь могу хохотать над самим миром + над собой!) до самой смерти, и остаться правой!

Мысли, мысли, мысли, книги, книги, речи, страдания, борьба, споры! Господа! Господа! Да стоит ли все это такого внимания! Полно! Станьте на миг абсолютно умными, и,

забыв, что Вы живете на земле, смело спросите себя, что такое земля и что такое все, что на ней происходит! Господа, я верю в Ваш ум! Вы сумеете (ибо для правильного решения вопросов надо перестать быть в них заинтересованными, а лишь интересоваться ими) – быть объективными. Вы, конечно, скажете, что то, что Вы увидели – нелепо: летит шарик, и на нем, точно кисея, накинута жизнь!

А я говорю дальше: вот я увидела эту кисею, и теперь стала от нее в стороне. Кисея? Ну вот и прекрасно. Не буду же я рассматривать каждую ее ниточку. И уж во всяком случае не буду плакать над этими ниточками, или над тем, что там и сям они порвались.

Господа! Поменьше скорби о мире!

Мотыльки, мыльные пузыри, канатные плясуны, пьяные, сумасшедшие – вот кто мои друзья!

Вот те, кто держат в руках какую-то истину.

Пьяный идет и шатается: дома шатаются, тротуар шатается, земля перевертывается вверх дном.

Что же, острое зрение!

Бабочки летают над кисеей трав и цветов, мыльные пузыри живут миг, канатный плясун не пишет книг, он только танцует.

Все, что летит, все, что не твердо стоит на земле, все последовательно!

И, наконец, сошедшие с ума дошли до апогея: они превзошли наш смешной мир, перешли грань последней нелепости. Уже стекло – не стекло, и луна – не луна, и книга – не книга, и земля – не земля. Все смешалось... Гениальнее шага, чем сойти с ума, не придумать – во веки веков!

Легкой ногой отталкивает человек от себя ничтожный шарик планеты, нелепость задавила! Ум, разум, воля – не вынесли!

И уж не подобным червяку сумасшедший ложится в землю, а гордым, великолепным, царем, перлом земли!

Октябрь 1914. Москва.

Я обожаю все то, что есть. Не надо никаких изменений.

Бунтующие, восстающие – бесконечно мало умны. Они не понимают ничего в вещах хорошего вкуса.

Мир совершенен.

Господа! Чего вам желать? Все прекрасно.

И какую плохую услугу вы оказали бы собственной душе, если б захотели упразднить из мира все его тяжести!

Господа! Поглядите кругом: какое великолепие. Какие краски. Какой веселый шум. Какой глубокий покой!

Солнце брызжет на землю миллиардами длинных алмазов, и цветы расцветают кругом, небеса глубоки, богатства неисчислимы... Никто не несчастен! Я это утверждаю. Никто.

Пусть не раздастся отныне ни одного непокорного голоса.

Будьте счастливы! Будьте радостны! Мы еще живы! Через пятьдесят лет мы будем в земле!

Благодарите Неизвестного за то, что Он дал вам дыхание! И, обращаясь кругом – сумейте, наконец, оценить то, что вам предлагается. Благословляйте всех. Художников за то, что они пишут картины. Музыкантов за очарование гамм. Детей за то, что они дети. Девушек – за их прелесть. Небо – за его синеву. Смотрите, как тают барашки. Слушайте, как с серебряным звоном идет по реке ледоход...

И гроза гремит. А где-то – концерт...

Не смейтесь надо мной, ибо нет иной правды! Благословляйте все.

Каждый из нас брошен с неба на землю – не известен ни срок, ни зачем... И могло быть, что нам пришлось бы прожить всю жизнь в одиночестве без дела, без горя, без помощи...

Тот, кто нас создал, нам не обещал ничего из тех радостей, что мы нашли на земле! Все – подарок! Сколько внимания, сколько забот о нас, сколько любви – каждый день! Разве мы заслужили?

Господа, благословляйте культуру, законы и общество, весь тот труд, который столько веков идет на устройство земли, – нам грозили такие хаос и произвол, что вся бы земля сгорела!

В совершенной чистоте души я приношу благодарность: обществу, законодателям, учителям, ибо только они дали мне возможность существовать, созерцать, мыслить, слушать веселый шум и абсолютный покой.

Люди, будьте добрей! Будьте проще, не надо ни гордости, ни вражды! Не надо... К ненавидящему вас – простирайте руки! Оскорбившему – улыбайтесь влюбленно! Живите пламенной! Дышите глубоко! Будьте, как птицы небесные!

Февраль 1915. Москва.

Хорошо начать книгу со спокойного, веселого, дружеского обращения к обществу, объясняя, что решать вопрос можно только тогда абсолютно правильно, когда ты в нем не заинтересован. И затем, что надо брать вещь у самого корня.

Итак, чтобы решить вечный вопрос жизни, смысла, устройства общества, забот о будущем и пр. — надо прежде всего выйти из пределов этого общества и этой земли. Отрешиться от любви, от страха, подняться над землей, так высоко, чтобы увидеть ее какая она есть, шариком в пустоте, и отсюда арифметически вычислить все «за» и «против», поставить весы, пустить в ход циркуль и компас, все что потребуется, — и затем мы, оставшиеся внизу, встретим летчика, как величайшего учителя. Все сделаем по его слову: если надо, станем героями; или святыми; или порочными. Упадем ниц. Если надо — взорвем землю, и все погибнем, до одного.

Но боюсь, что будет тот учитель «Елеазаром», что вернется он, уронив тетрадку и циркуль, поседевший и молчаливый, ничему не научит нас, ничего не произнесет... Ляжет на берегу залива в Неаполе и будет смотреть на солнце! И на то, как синее зеркало моря к вечеру становится золотым!..

Декабрь 1914. Москва.

Думается мне, что единственный выход это — взорвать землю! И что многие это знали. Думается мне еще... ах, как мне многое думается! Но кто дошел до этой веселой мысли, уж, наверное, этого не сделает. Тот давно лежит под неапольским солнцем и смотрит на паруса!

И этим утверждением моим земля обречена на вечный полет, ибо ни единый философ не тронет тебя, будь покойна! Лети, кружись, освещайся солнцем, кати свои ниточки рек и качай свои синие лужицы океанов, шуми листвою, цвети и осыпайся, блести умами людей и красотой пейзажей, — нелепая и смешная картина, но какими красками ты написана!

О, лазурь небес и золото прудов и озер, о заря восходящего и заходящего солнца, зелень мха, ослепительность снежных вершин, широта песчаной пустыни, звездная ночь, шум и дым городов, волшебная фата-моргана, перед которой, объаты изумлением зрителей, мы падаем ниц!..

Лети! Так будет до века! И что мы бы ни говорили — никто не ронет тебя!

Декабрь 1914. Москва.

Слушая «Танго», думала: «А-ах, ничего нет преступного! Ведь я умру, я умру, вы понимаете — я умру, все скроется, ни следа, я буду землей, и на этой земле все будет цвести, как сейчас.»³⁹

Я лежу в поле, прильнув к земле, целуя ее, вдыхая запах травок и сырости, и жадно смотрю на солнце – и смерть близится. Я могла бы завывать от ужаса, а ведь я улыбаюсь, я говорю о веселии, я слушаю музыку и бесцельно провожу мои дни.

А смерть близится.

Может ли быть у меня перед вами вина, мои дорогие друзья, что бы я ни делала, как бы ни поступала? Я чиста. О, я чиста. Я знаю.

Ибо то, что я умру – это гораздо важнее – и любви, и вас, и законов природы, и мысли, и музыки, и солнца, и философских проблем, и того, что земля существует – важнее всего!»

Январь 1914. Москва.

.....
.....
.....
.....
.....

В одной из самых прекрасных, мною любимых книг, читаю: безобразно зрелище поднимания женщиной – тяжестей.

Верно. На нежном теле с шелковой кожей – напряжение мускулов – безобразно. И лицо краснеет, и пот выступает. Зрелище режет глаз. И вот четверть века спустя появляюсь я, принадлежащая к породе женщин, и – в двадцать лет – подняла одну за другой все тяжести не только земли, но и вселенной, и –

существует закон, что при поднимании тяжестей мускулы должны напрягаться.

Я, пожалуй, взойду на миг на трибуну, чтобы увидали меня. Маленький рост; мое нежное тело слабо и хрупко; руки мои не держат даже книг и тетрадей, так они не любят малейшего напряжения. Лицо мое бледно, не в меру, розовое чуть-чуть, как в прохладное утро. Лоб холоден и высок, губы свежи и горячи, – ни единый мускул не дрогнул.

Я люблю Красоту. Безобразия не допускает моя строгая и изысканная душа. Я не позволила моим мускулам узнать напряжения. Но взамен, в тот же миг, я ощутила острую боль. Я подумала: «Это – смерть», но почувствовала незнакомую легкость, и – жизнь вернулась ко мне. Но что-то похуже на глыбу льда охватило все мои движенья и чувства.

Я приложила руку к сердцу: оно не билось.

Так вот оно что!